

К. Н.  
ЛЕОНТЬЕВ

*Сочинения*



Константин Николаевич Леонтьев

# Мои дела с Тургеневым и т.д. (1851–1861 гг.)

«...На столе лежала газета. Я газет не любил и не читал; но на этот раз случилось иначе. Я говорил с молодой девушкой о моих затруднениях, говорил о Тургеневе и случайно раскрыл газету. Вдруг вижу объявление: «Николай Сергеевич и Иван Сергеевич Тургеневы вызывают должников и заимодавцев скончавшейся матери своей такой-то; *дом Ломаковской, на Остоженке*». Это было почти напротив моей квартиры. Я показал m-lle Sophie газету, и мы оба удивились. Я ушел домой и на другой день утром часов в 9 с стесненным сердцем понес свою рукопись Тургеневу...»

# Содержание

I.....	.0005
II.....	.0066
III.....	.0105
IV.....	.0114
V.....	.0135

**Константин Николаевич  
Леонтьев**

**Мои дела с Тургеневым и т. д.  
(1851–1861 гг.)**

Мне был 21 год, когда я отнес Тургеневу свое первое произведение – комедию «Женитьба по любви».

Я учился тогда в Москве, в университете, медицине и жил на Остоженке. Почти напротив нашей квартиры был довольно большой серый деревянный дом *Ломаковской*. Я часто проходил мимо него, не подозревая, что он будет иметь такое большое значение в моей жизни. Я не знал, что в этом доме жила мать Тургенева, которая скончалась именно в тот год, когда я написал «Женитьбу по любви». Это случилось в 51-м году.

Я был на втором курсе и очень много страдал в этом году. У меня болела грудь и я беспрестанно был нездоров. Знакомство через родных в Москве было большею частю в богатом кругу, а денег не было. В своей семье мне очень многое не нравилось. Я был очень самолюбив, требовал от жизни многого, ждал многого и вместе с тем нестерпимо мучился той мыслию, что у меня чахотка.

Медицина первые два года меня тяготила,

хотя, конечно, были минуты, в которые меня занимало что-нибудь на лекциях. Общие научные выводы, общие идеи сначала занимали меня больше, чем подробности. Подробности стали нравиться мне позднее, на 4-м курсе, у постели больного и еще больше в военных больницах, где я уже был сам хозяином и распорядителем. Впоследствии времени я стал лечить недурно и нередко очень счастливо. Мне кажется, впрочем, что и в самые вопросы о том – «дать ли тут опиум или aqua laurocerasi (лавровой воды (лат.)), пустить ли кровь или не пустить», – я стал все больше и больше вникать не столько из любви к науке или из корысти, сколько из человеколюбия, несколько романтического оттенка. Впрочем, об этом позднее. Одним словом, вынужденный обстоятельствами поступить на медицинский факультет, я полюбить медицину всей душою все-таки не мог.

Наука, значит, не могла в то время утешать меня, и особенно на втором курсе, где еще не было передо мною *живых страдальцев*, возбуждавших мое участие, мое рвение, мое самолюбие, а только валялись на столах

удавленные старики, замерзшие на улице пьяные, убитые блудницы, которых трупы терзали студенты, смеясь и кощунствуя всячески.

Меня не занимала грубая веселость моих товарищей. Видимо, они ни о чем почти не беспокоились и не думали, кроме экзамена и карьеры своей. Я же с утра до вечера *думал* и мучился обо всем.

Я утратил тогда и на долгое время детскую веру; только что перестал томиться; – успокоиться же на каком-то неясном деизме, эстетическом и свободном, на котором я успокоился недолго позднее, я в то время еще не мог. Все меня мучило: безверие, жизнь в семье, болезни, безденежье, подавленное самолюбие, университетские занятия, которые мне не нравились и к которым я принуждал себя, чтобы кончить *во что бы то ни стало* курс в высшем заведении. С другими студентами я почти не знакомился; мне казалось, что они ничего не понимают, и поэтому у многих были такие неприятные лица; а я всегда любил изящное, даже и в товарищах. И на лекциях даже почти ни с кем не говорил и всех остере-

гался.

Был у меня один только друг Алексей Георгиевский. Он был тоже студент, двумя годами старше меня; сын очень бедного и многосемейного чиновника из глухого городка Боровска нашей Калужской губернии. Я его года два подряд без ума любил, но и от него я видел больше горя и оскорблений, чем радости. Он был для меня тем, чем был Мефистофель для Фауста. Но у него ирония и отрицание происходили не от недостатка поэзии или идеализма, а скорее от злобы на жизнь, которая не давала ему ничего. Большинство товарищей не обращали на него внимания, считали его просто чужаком; но те немногие, поумнее и поразвитее, с которыми он сближался, подчинялись немедленно его уму, или лучше сказать смело – его гению.

Он *отравился* в 66-м году. Я его совсем потерял из виду с 54-го года; но еще в 51-м я прервал с ним все сношения, потому что он уже тогда сделался нестерпимо желчен и несправедлив. Об нем одном можно было бы написать очень много, но здесь я хочу об нем сказать два слова только потому, что он своими



советами и мнениями имел большое влияние на мои литературные занятия, и сверх того, самая комедия «Женитьба по любви» без него не написалась бы.

Мне тогда очень было тяжело жить на свете; – я страдал тогда от всего: от нужды и светского самолюбия, от жизни в семье, которая мне многим не нравилась, от занятий в анатомическом театре над смрадными трупами разных несчастных и покинутых людей... от недугов телесных, от безверия, от боязни, *что отцвету, не успевши расцвести*, от боязни рано умереть, «*sans avoir connu la passion, sans avoir ete aime!*»[1].

Я был тогда точно человек, с которого сняли кожу, но который жив и все чувствует, только гораздо сильнее и ужаснее прежнего. Оттого-то я и не мог долго выносить иронию и умственную злость моего разочарованного друга; его даже и шуточные замечания действовали как едкое вещество на живое окровавленное тело.

В 51-м году мне стало до того, наконец, уже грустно и больно, что я вовсе перестал понимать веселые стихи, веселые сцены и т. п. Я

только понимал страдальческие болезненные произведения. Когда Тургенев напечатал «Записки лишнего человека», мне показалось, что он угадал меня, не выдавши меня никогда. Был против университета трактир «Британия», в который я ходил читать журналы, слушать орган и пить чай (*завтракать* часто я не смел, потому что не было денег).

Что мне было делать, когда пришлось (не преувеличивая скажу) – плакать в трактире над историей этого «Лишнего человека»? – Я закрывался книгой в углу и плакал. Слава Богу, никто не обратил внимания.

Была в Москве одна девица – З. К-ва. Отношения наши длились пять лет подряд; все время, пока я был в Москве, принимали разные формы – от дружбы до самой пламенной и взаимной страсти. *Но хорошее время* настало после, а в 51-м году и эти отношения были какие-то нерешительные, неясные, шаткие, и даже они причиняли больше боли, чем радости. Есть одно стихотворение Ключникова (Ф).

Я не люблю тебя, но, полюбив другую, Я презирал бы горько сам себя.

Оно было тогда мне ближе всей остальной поэзии, ближе Пушкина, Фета, Лермонтова, Кольцова, ближе всего на свете... «Я не люблю тебя» — я находил несказанное наслаждение повторять это и себе, и ей. А не видать ее день один было для меня тяжело.

Под такими впечатлениями я написал «Женитьбу по любви». Не знаю, как бы мне как можно короче изложить ее содержание?

В Москве живет с родной теткой своей, еще не очень старой женщиной, молодой человек Андрей Киреев. У него вместе с теткой есть небольшое состояние, достаточное для независимой жизни. Ему 24 года.

Ему нравится молодая девушка 22 лет... (имени ее не помню); она гораздо хитрее и осторожнее его. У этой девицы есть двоюродный брат, лет 30, Буравцов, брюнет, красивый, служил и сражался на Кавказе, «с красной ленточкой в петлице». Для колеблющегося Киреева он то ритор и офицер а 1а Марлинский, то пример чести и мужества.

Для молодой девушки он идеал мужчины: «c'est un homme energique et distingue, qui a vu la mort de pres»[2], и т. д.

У нее с Буравцовым был небольшой роман; но Б-в не захотел ни обольстить ее, ни жениться на ней. Теперь ему хочется выдать милую и бедную кузину за Киреева. У Киреева есть друг – *Яницкий*, 26 лет, бледный, красивый, с тонкими чертами лица, богатый, независимый, но он страдает грудью и потому несколько озлоблен. Он точно так же, как и мой небогатый студент-Мефистофель, от скуки проливает свой яд на раны беспокойного Киреева.

Киреев сам не знает, любит ли он кузину Буравцова или нет. Яницкий тешится этим, уверяя Киреева, что он и вовсе будто бы *неспособен любить...*

Киреев раздирается от отчаяния:

Я не люблю тебя, но, полюбив другую, Я презирал бы горько сам себя...

Тетка Киреева, которая его воспитала и обожает его, огорчена его страданиями; но не понимает, в чем дело. Киреев и тяготится теткою, и до боли жалеет ее, делая ей, однако, всякие неприятности.

Наконец Киреев, чтобы доказать Яницкому, что он *может что-нибудь сильное сде-*

лать, решается жениться. В последнем действии он очень несчастлив и мучает всячески и свою новобрачную, которая согласилась бы стать ему доброй женой, и тетку, которую он подозревает в неприятном чувстве к жене. Поссорившись и с той, и с другой, и почти прогнавши их, он вызывает на дуэль Яницкого из одного мщения и отчаяния. Но Яницкий, который очень храбр, имеет моральное мужество отказаться от такой дуэли, и это великодушие врага окончательно уничивает несчастного Киреева.

Комедия эта была написана не для сцены, а для чтения; она вся основана на тонком анализе болезненных чувств. В ней, я помню, было много лиризма, потому что она вырвалась у меня из жестоко настрадавшейся души!

Я вынужден здесь распространиться хоть сколько-нибудь о разнице, которая была между мной и моим героем.

Конечно, у меня, как и оказалось на деле, при сходных обстоятельствах было несравненно больше такта и твердости; но изменения эти внеслись сами собой в пьесу, как только я изменил некоторые внешние черты.

Я был гораздо беднее Киреева; я был болен, – он здоров; он свободен, – я учился насильно медицине, я был в многолюдной и несогласной семье, – он жил с одной теткой, которая смотрела ему в глаза. Одного или двух из тех условий, которые меня тогда так несчастно опутывали, было бы достаточно для горя и грустного лиризма, а у меня их было десять разом.

Отнявши у своего героя почти все те права на страдания, которыми я так щедро был тогда снабжен, я должен был *преувеличить его собственные вины*, чтобы путем глубокого презрения, *самоуничижения* причинить ему страдания той глубины, какая у меня самого являлась наполовину следствием внешних обстоятельств. Сколько бы я тогда (отчасти и со слов других) ни винил бы и ни казнил себя презрением, какой-то *внутренний голос* взывал во мне постоянно о пощаде; он говорил мне, что условия и другие близкие люди еще, пожалуй, хуже меня самого, и я убедился позднее, что это было не совсем *пристрастие*, а в значительной мере правда; с переменой даже и не всех людей, а только обстоя-

тельств, – и я стал другой.

Конечно, это я теперь так разбираю свою юношескую комедию, но тогда все это было мне не так ясно. Я помню только, что мне вдруг стало гораздо *легче*, когда я написал два действия. Я не хотел прочесть рукописи ни родным своим, ни *той девице*, чтобы она не узнала меня в Кирееве и не судила бы об душе моей хуже, чем она была в самом деле. Я прочел ее только двум товарищам: тому Мефистофелю-Георгиевскому, который отравился, и другому, Ер-ву, который и теперь жив и стареет в своем Нижегородском имении. С этого «второго» я списал внешность изящного Яницкого – он был еще моложе меня, побогаче; танцевал прекрасно, ездил хорошо верхом; был иногда насмешлив, но больше как светский человек, а не как демон какой-то придирчивой и ненужной даже вовсе психологии. Я составил Яницкого из своей телесной болезненности, из ядовитости Георгиевского и из милой и светской внешности Ер-ва. Я презирал и жалел Киреева. Яницкого я любил и уважал.

Я пригласил их обоих раз после обеда и

прочел им оба действия не спеша и с глубоким чувством.

Георгиевский очень любил и понимал искусство. Он встал; его румяное и полное лицо утратило обычное выражение гордости и насмешки, оно стало радостным; он обнял меня и сказал: «Ну вот, Костя, что ж ты жаловался? Вот тебе и награда за страдания твои. Это настоящий талант!» А Ер-в судить тогда об искусстве еще не брался твердо (ему было 20 лет) и сказал мне другое: «Знаешь, как странно видеть в своем близком знакомом вдруг такого даровитого человека!.. по правде сказать, я и не думал, что ты можешь так серьезно писать!» Как меня все это ободрило и утешило – сказать не могу! Однако мне хотелось найти себе протекцию и поддержку в литературном мире. Я не решался верить только себе и этим молодым приятелям. Плохую же вещь я печатать не желал. Я ненавидел посредственность в искусстве.

Я стал думать, к кому пойти? Я встречал Хомякова и Погодина, но они оба тогда мне вовсе не нравились лично. Сочинениям их я также не находил в душе моей в это время ни



малейшего отголоска. Из незнакомых мне авторов я «за глаза» больше всех любил Тургенева. Но он был за границей. Я собирался идти то к гр. Ростопчиной, то к Евг. Тур. Но первую, судя по ее собственным стихам, я не считал хорошим критиком, а ко второй, не помню почему, все колебался идти.

Мой Горгиевский советовал тоже найти покровителя, но прибавлял: «Ты смотри однако – всем этим известностям не слишком уж верь. Они тоже ошибаться могут. Не верь им во всем. Верь себе больше – своему чувству; у тебя талант может выработаться большой. Скажут тебе – это дурно, это хорошо; а ты не слишком верь. Вот хоть бы этот Тургенев, – сам ведь он талант не первоклассный: описания его уж становятся скучны; у гениального писателя картина, заметь, никогда не похожа вполне на жизнь; она или лучше, или хуже жизни. У Гоголя она преднамеренно хуже; а у Тургенева эти «Записки охотника» так мелочны! Они производят точь-в-точь то впечатление, как сама жизнь. Не поддавайся поэтому вполне никому и иди своей дорогой. Ты можешь много сделать».

Мне было, конечно, лестно все это слышать от Георгиевского; но я тогда не в силах был понять всю оригинальность критики этого гениального юноши. *Только лет тридцати с лишком я дорос до него* и стал понимать, что перед судом строгого искусства – Тургенев *не совсем то, чем можно быть* и чем его провозгласили. Особенно эти прославленные «Записки охотника».

Но в то время эти нападки Георгиевского на Тургенева не последнего унижали в моих глазах, а заставляли меня лишь сомневаться в правоте первого. «Если он не ценит Тургенева (думал я), то могу ли я сам полагаться на его суждения и его похвалы?»

Каково было мое удивление, когда через несколько лет два человека, более нас обоих опытные и гораздо более начитанные, сказали мне о Тургеневе почти то же самое; но я даже и этим людям не верил вполне, а поверил только своему собственному чувству гораздо позднее, лет *через семь* и более! Один из этих строгих критиков был М.Н. Катков, в то время человек еще никому почти не известный, удаленный от должности профессора

философии, скромный редактор весьма тогда скромных «Московских ведомостей». Другого я не назову, потому что он жив, и я не знаю, желает ли он, чтобы я назвал его.

Итак, я все не решался, к кому мне идти за советом и помощью.

Раз вечером я пришел к родным моим, Охотниковым, на Пречистенке и сел у круглого стола под лампой, беседуя с одной девицей. На столе лежала газета. Я газет не любил и не читал; но на этот раз случилось иначе. Я говорил с молодой девушкой о моих затруднениях, говорил о Тургеневе и случайно раскрыл газету. Вдруг вижу объявление: «Николай Сергеевич и Иван Сергеевич Тургеневы вызывают должников и займодавцев скончавшейся матери своей такой-то; дом Ломаковской, на Остоженке». Это было почти напротив моей квартиры. Я показал m-lle Sophie газету, и мы оба удивились. Я ушел домой и на другой день утром часов в 9 с стесненным сердцем понес свою рукопись Тургеневу.

Человек пошел доложить. Тургенев жил на антресолях. Как я ни был занят своим делом, но *объективность*, как и всегда, не поки-

дала меня и тут. Я не знал ни наружности, ни состояния Тургенева и ужасно боялся встретить человека, *не годного в герои*, некрасивого, скромного, небогатого, одним словом, жалкого труженика, которых вид и тогда уже прибавлял яду в мои внутренние язвы. Терпеть не мог я смолоду бесцветности, скуки и буржуазного плебейства, хотя и считал себя крайним демократом. Герои Тургенева были все такие скромные и жалкие. Ни Рудина, ни Лаврецкого он еще не произвел в то время. Однако меня скоро позвали, и я был приятно поражен. Тургенев любезно встал мне навстречу и, подавая руку, спросил, что мне угодно.

Росту он был почти огромного, широкоплечий; глаза глубокие, задумчивые, темно-серые; волосы были у него тогда темные, густые, как помнится, несколько курчавые, с небольшой проседью; улыбка обворожительная, профиль немного груб и резок, но резок барски и прекрасно. Руки как *следует* красивые, «*des mains soignees*»[3], большие, мужские руки. Ему было тогда с небольшим 30 лет. Одет на нем был темно-малиновый шел-

ковый шлафрок и белье прекрасное. Если бы он и дурно меня принял, то я бы за такую внешность полюбил бы его. Я ужасно был рад, что он гораздо *героичнее* своих *героев*. Ни слова почти не говоря, я сел против него в большое кресло и начал читать ему свое сочинение. Он закрылся руками и прослушал около четверти часа; но потом прервал меня и сказал, чтобы я оставил ему рукопись, что он прочтет ее лучше сам и обдумает. Назначил мне на другой день зайти утром, сделал мне еще несколько вопросов об университете, о том, давно ли я учусь, давно ли пишу и т. д.

На другой день я зашел, но мне сказали, что он очень болен сердцебиением и что у него был сам Иноземцов. Через день ему стало лучше; он меня принял и мы долго беседовали.

Может быть, здесь кстати будет упомянуть и об его впечатлениях; мне об них, смеясь, рассказывали позднее общие знакомые.

«Сижу я поутру дома (говорил им Тургенев). Накануне ко мне приносил свою драму незнакомый армейский офицер. От бумаги

ужасно пахло Жуковым. Там была какая-то графиня и обольститель, и такой благородный один офицер, верно, это себя описывал автор... Вещь никуда не годная. Я второй раз уже не принял его и выслал ему вниз записку, что драма, по моему мнению, не может быть напечатана. Он при человеке моем ужасно рассердился, разорвал мою записку и ушел. Только что он ушел, докладывают – студент. Входит очень молодой человек, белокурый, в вицмундире, с треугольной шляпой и с рукописью. Говорит, что его фамилия Леонтьев, жмет мне руку, извиняется, что у него нет шпаги, потому что отдал чинить в ней что-то, и потом ни слова больше не говоря, садится и читает. Читал он не слишком хорошо, и поэтому я предпочел сам посмотреть рукопись. И тотчас же увидел, что это совсем не то, что у офицера...» В глаза Тургенев говорил мне также много ободрительного и лестного.

– Ваша комедия произведение болезненное, но очень хорошее; особенно для вашего возраста это очень много. Видно, что вы не подражаете ничему, а пишете прямо от себя. Ваша тетка, например, не похожа на моих те-

ток или на теток Гончарова. Искренности также много. Ваш герой – больной ребенок, но поэтому он и может возбудить участие. Она у вас не совсем кончена; кончите ее, и я с радостью ее напечатаю. Насчет цены я постараюсь выхлопотать вам сразу 75 рублей. Так устроился Писемский; я и Григорович получаем только 50 рублей за лист; за эту цену (за 50 руб.) я вам ручаюсь.

Он спрашивал, нет ли у меня еще чего-нибудь начатого, и просил принести. Я принес ему две-три первые главы романа, который я начал почти в одно и то же время с комедией. Название романа было: «Булавинский завод». Недалеко от Калуги был сахарный завод Унковского, которого окрестности мне очень нравились. Это-то место я выбрал для своего романа. Огромный сосновый бор; «серо-зеленые» холмы и по ним «сбегают кудрявые дубки и березы». Завод в стороне, а на одном холме созданный моим воображением просторный и теплый, новый деревянный домик; «свежие бревна, не обшитые тесом»; зелень вокруг, а зимой «морозным вечером – красные сторы на освещенных окнах». В этом ми-

лом домике на веселой опушке дремучего бора, в здоровом воздухе, я поместил своего героя – доктора Руднева. Руднева и Киреева я создавал в одно и то же время. И тот и другой был я, и ни тот, ни другой не был мною. Если Киреев был богаче меня, был независимее и лучше моего поставлен в московском обществе, – Руднев зато был еще беднее, он нуждался в хлебе; он был сирота; у него не было, как у меня, прекрасного материнского прибежища – родного имения, красивого, тенистого нашего Кудинова! Киреев был здоров. Руднев был болен грудью, как я. Руднев был доктор, как я.

Все свое малодушное, все свое слабое я придал Кирееву; все солидное, почтенное, серьезное, что во мне было, я вручил Рудневу. Я отдал Рудневу всегдашнюю серьезность и честность моей мысли, мою выдержку в занятиях (даже и в медицинских, которых я не любил), мою жажду знания, мое grubeln и осыпал его за то внешними невзгодами, как осыпан был ими я сам.

Сверх того в Кирееве была моя дворянская, «светская», так сказать, сторона; в Рудневе –



моя труженическая. Я сделал Руднева любящим медицину, как полюбил бы, вероятно, ее и я, если бы мечты о службе искусству не охлаждали бы меня к ней.

Я усладил Руднева из столицы в лес управлять заводом и имением богатого молодого помещика Булавина и лечить его крестьян, ибо я и сам мечтал тогда много об этом. Я хотел быть один, хотел быть подальше от родных, хотел быть «в лесу», здоров, деятелен, *полезен бедным*, и вместе с тем независим. Еще я хотел одного... Я хотел иметь молодую, очень молодую возлюбленную, простую, кроткую, послушную, которая бы не требовала от меня все высокого и высокого, как требовали девицы нашего круга, а только доброго и доброго...

По мере того, как я писал и переживал это, еще недоступное студенту, будущее почти независимого сельского врача, душа моя все веселела и смягчалась, и требовала нового и нового! Захотелось мне съездить в Петербург, и вот Булавин выписал Руднева в столицу на два месяца (не более)!.. На радостях, что я такой дельный доктор и что я «в лесу», и что

грудь прошла, и что у Паши волосы, как лен, и платье зимнее из серой материи с белыми полосками и синий бантик, – на этих радостях захотел я еще добра и добра... Кого бы пожалеть?.. Кого еще полюбить?.. Я придумал для Руднева сироту младшего брата, юношу, молодца и красавца, которого он взял с собою из Москвы в свой «лес».

Потом явился еще машинист, молодой француз Опост, воспитанный в России, знакомый давно с русской жизнью, ловкий, bon enfant[4]... Вот начало романа... А дальше я не знал и сам, что будет! Но писать эти три-четыре главы было для меня тогда блаженством!

Тургенев прочел их и нашел, что они еще лучше «Женитьбы». – У вас большой талант, – сказал он, – Руднев другое лицо; это уже не больной ребенок, как Киреев, а человек физически болезненный, но сильный мыслью и духом; он предан науке. Это лицо вовсе новое. Описания ваши очень милы. Эти *серо-зеленые холмы*, например. Это правда: в таких местах много серого моху. Этот завод, мальчик-брат – все это очень кстати. Не портите только ва-

шего таланта каким-то юмористическим любезничаньем с читателем... К чему это вы говорите вдруг по поводу копоты: «И забор, *не ускользнувший от проказ заводской трубы*». Вы видели это, может быть, у кого-нибудь другого. Но помните, что эти выходки и у самого Диккенса вовсе не хороши. Не острите, бросьте это; у вас может выработаться спокойное, светлое или грустное мирозерцание, но этого рода ложную юмористику вы оставьте. Это не ваш удел! Кончайте вашу комедию и ваш роман, и я их напечатаю в Петербурге. Не торопитесь; не портите вашего таланта и не давайте без моего совета редакторам эксплуатировать себя; они рады заставить вас писать фельетоны и т. п. дрянь.

Эти первые свидания мои с Тургеневым приходились весной 51-го года, через несколько дней он уехал в Орловскую губернию на лето, а я к матери, в Калужскую.

Летом я не спеша отделал мою комедию совсем и послал ее Тургеневу. Конец вышел еще лучше начала. Создание Руднева, похвалы Тургенева, нескрываемое удивление многих близких людей, когда я рассказывал им о

моих разговорах с этим писателем, хотя тогда еще и не прославленным, но все-таки уже достаточно известным, – все это возвысило меня в моих собственных глазах и отдалило меня от глубоко униженного *Киреева*... Память о нем, об его ошибках и недавних страданиях была еще настолько свежа, что теплота в выражении чувств сохранилась, а мое от него постепенное отчуждение помогло мне лишь больше уяснить себе все образы и все душевные движения действующих лиц.

Вместе с комедией я послал Тургеневу еще один отрывок *стихотворный* – начало небольшой поэмы, писанной плохими гекзаметрами. И эти стихи я сочинил *все в ту же зиму*, в которую начал и «Женитьбу по любви» и «Булавинский завод». Несмотря на самые неблагоприятные и даже мрачные условия со стороны здоровья, семейных отношений и т. д. (обо всем этом я говорил уже), в эту ужасную зиму из души моей каким-то неудержимым ключом и почти вдруг стало бить литературное вдохновение! Я до сих пор даже и понять не могу, когда я успел все это вообразить, обдумать и написать! Тем более

мне это кажется странным, что на лекции я все-таки довольно аккуратно ходил; в первый раз после долгого отвращения и тяжелой борьбы стал «препарировать» в анатомическом театре мускулы и жилы на отрезанных мертвых руках и ногах; делал физиологические опыты под руководством строгого профессора Глебова и заслужил даже его одобрение за представленный ему отчет о роде страданий и об образе смерти одного несчастного голубя, которому сам Глебов насквозь проткнул булавкой полушария большого мозга. Мне дали этого голубя на дом для наблюдений над припадками, которые должны были последовать за таким важным повреждением. Мне помнится, что голубь прожил с булавкой в большом мозгу дня три в спокойном, хотя и отупелом состоянии, но на четвертую ночь стал так громко биться и трепетать крыльями, что я проснулся и присутствовал при его кончине. Помню, что, умирая, он все вертелся в одну сторону; не знаю, как теперь учат, а тогда (если мне не изменила вполне «медицинская» память) нас учили, что этого рода неправильное движение случается при пора-

жении мозжечка с одной стороны. Утром я вскрыл осторожно маленький череп мученика науки, нашел, что мозжечок действительно был поражен, и написал свой отчет. Я упоминаю здесь об этом случае лишь потому, что, повторяю, сам не могу постичь, как и когда я успел в эту зиму столько настрадаться за себя и даже за других, столько прочесть, столько передумать и перечувствовать нового; столько написать и вместе с тем удовлетворительно подготовиться к экзамену! В первый раз я тогда стал резать сам трупы; в первый раз коснулся руками холодного и гниющего человеческого тела; в первый раз узнал, что такое глубина и жестокость *молодого* отчаяния (оно нестерпимо, хотя и скоро проходит); в первый раз делал физиологические опыты над живыми существами; в первый раз написал и эти, хоть сколько-нибудь да сносные, стихи.

Тургенев тотчас же по получении моих рукописей отвечал мне длинным и самым любезным письмом. Это *первое* его письмо покажется, вероятно, многим читателям довольно скучным, ибо он очень внимательно и по-

дробно занимается в нем стихосложением и метрической, так сказать, критикой моих гекзаметров; я нахожу, однако, необходимым поместить его здесь, не только потому, что оно первое, но еще и потому, что оно делает большую честь его доброму сердцу и его литературной добросовестности. Пусть оно само говорит за себя; кому надоест разбор неправильных стихов, тот все это пропустит, пробежав лишь глазами.

с. Спасское. 12 июня 1851 г.

*Милостивый Государь Константин Николаевич. Я получил ваше письмо и посылку вчера и, видите, не замедлил ответом. Вы не почли нужным, как вы говорите, «рассыпаться в изъявлениях благодарности» – я, с своей стороны, избавлю и вас от уверений в искреннем моем участии к вашему таланту; лучшим доказательством этого участия послужит подробность и добросовестность моих заметок.*

*Начнем с ваших гекзаметров. Прилагаю их к этому письму вместе с таблицей всех чисто метрических ошибок, найденных мною в ваших стихах. Вы извините за откровенность: вы до*

сих пор не имели точного понятия о гекзаметре. Но это не должно вас опечалить; вы владеете языком, выражения ваши живы и счастливы – овладеть размером вам будет очень легко. Позвольте сообщить вам несколько замечаний о гекзаметре, которые, я надеюсь, не будут вам бесполезны, и не взъищите за наставнический тон.

Гекзаметр состоит из шести стоп, пяти трехсложных, в которых первый слог долгий, а вторые два коротких, и одной окончательной, усеченной стопы, состоящей из одного долгого и одного короткого слога. Вот его форма:

1	2	3	4	5	6
—	υ υ	— υ υ	— υ υ	— υ υ	— υ
Жиль	быль са	дов никъ о	динъ въ о пу	стьломъ и	грустномъ и
					мъвъ и

Эта форма представляет полный гекзаметр. Греки, изобретшие этот размер, заменяли, часто в одной, иногда в двух, иногда во всех стопах, исключая пятой, которая всегда оставалась полной, и последней, шестой, усеченной, которая тоже никогда не изменяюсь, – заменяли, говорю, короткие два слога одним длинным[5], что при-





немцы первые решились, по мере возможности, заменять два короткие слога одним долгим, или, говоря точнее, слогом с ударением, т. е. вместо ставить. Они это сделали, не соображаясь с какими-нибудь произвольными, придуманными законами, не идущими к их языку (известно, что у греков постоянные законы определяют долготу слога), но с ухом, с мерой и духом, можно сказать, с музыкой языка. Главная задача состояла в том, чтобы читатель, не затрудняясь, тотчас прочел измененный гекзаметр так, каким его сочинил поэт, и эта задача была достигнута, эта попытка в руках талантливых людей удалась; но надо иметь талант и ухо, чтобы чувствовать, где именно возможно нарушить однообразие полного гекзаметра введением длинного слога вместо двух коротких. Вы сами в некоторых местах очень удачно это сделали. Не один читатель запнется, как прочесть следующий ваш стих:

1	2	3	4	5	6
— u u   —	u   —	— u   —	—   —	u u   —	
Только и	было, что	пять; од	на	надъ	прудомъ въ де
					рeвнѣ *)

— u u — u u — u u — u u — u u — u  
 Только и было, что тридцать; одна надъ рѣкою въ деревнѣ.

(\* Примеч: Полный гекзаметр был бы следующий: )

*в котором у вас две стопы среди, 3-я и 4-я, состоят из двух долгих слогов, — или этот стих:*

1	2	3	4	5	6
— u u	— u u	— u u	— —	— u u	— u
Жизнью ки	пящихъ,	счас	тливыхъ и сильныхъ,	злюю на	смѣшкой,

*в котором у вас 4-я стопа состоит из долгих.*

*Воейков в следующем гекзаметре:*

1	2	3	4	5	6
— —	— u u	— —	— u u	— u u	— u
Здѣсь сквозь	доски по	ла визж	ить, зацѣ	пляясь зу	бами,

*Гнедич в переводе «Илиады» часто весьма удачно изменяли полную форму. Очень жаль, что Жуковский не надеялся на свое умение владеть стихом и всю «Одиссею» перевел полными гекзаметрами, что производит утомительное однообразие и стукотню. Конечно, оно легче, удобнее и, пожалуй, даже правильнее, но, повторяю,*

лучше тогда совсем бросить этот размер. Только, разумеется, надобно умеючи вводить долгие слоги (правильнее – слоги с ударением, потому что количественно-долгих слогов в новейших языках нет, но мы для краткости будем их называть долгими). Правила, как это делать, предписать невозможно, но некоторые намеки могут быть даны:

а) Никогда не должно превращать в долгий слог незначительную частицу или незначительный слог в слове, на которых неестественно остановиться, как вы это сделали в 55-м стихе:

— u u — u u — u u · ——— u u — u  
Думать должно, что заглох онъ отъ неухода и пищи,

Думать должно, что заглох он от неухода и пищи, что ужасно дерет слух.

б) Также надобно наблюдать, чтобы первый, долгий слог стопы, следующей за стопой, превращенной в долгую (—), был не частица или незначительный слог, как, напр., у вас в 60-м стихе:

— uu — u u — — — u u — u u — u  
Темную кровлю казалъ, какъ бы наблюдая тихонько,

где после продолженной стопы – зал как – читатель принужден сделать ударение на бы, что неестественно.

с) Должно стараться, чтобы продолженный слог – слог, представляющий собою два коротких слога, имел либо значение в стихе, как напр. (см. выше),

— u u — u u —

Только и было, что *пя*ть и т. д.

либо, чтобы за ним следовал знак препинания, что позволяет голосу остановиться, как напр.:

— u u — u u — — — u u — u  
Ягодъ багровыхъ пучки выставляла. Ландышей скромныхъ

Но, повторяю, правила для употребления этой вольности должны находиться в ухе поэта, и если вы на свое ухо не надеетесь, пишите, так и быть, исключительно полными гекзаметрами. Но где больше труда – больше и чести<sup>[1]</sup>.

Что же касается собственно поэтического достоинства отрывка, то он свеж и картинен. Не могу, однако, не заметить, что «младые прогрессисты» в 90-м стихе неприятно поража-

ют слух, и что не худо бы вам отвыкнуть от таких оборотов, как напр., «клен-то не шибко здесь рос по себе», что я, помнится, называл вам любезничаньем, и что вовсе не идет к вашему ясному и спокойному поэтическому взгляду. Еще замечу вам, что ревнем, точно, пахнет тополь, только не серебристый. Но мне весьма было бы приятно знать, что вы продолжаете вашу поэму, соображаясь с метрическими правилами, а метрические правила соблюдать так легко, что, право, не стоит нарушением их вредить впечатлению читателя.

Я так подробно распространился о ваших гекзаметрах, что не имею более времени говорить как бы следовало о вашей комедии. Я третье действие прочел со вниманием; оно не переменяло моего прежнего мнения: это сюжет, не говорю не сценический, но антидраматический; интерес в нем даже не психологический, а патологический. Но со всем тем это вещь замечательная и оригинальная. Я исполню все ваши поручения – пошлю вашу комедию к Краевскому с письмом к Дудыш-

кину, критику «Отеч. зап.»; но я об этом еще поговорю с вами в другом письме, в котором я выскажу вам все свое мнение о вашем произведении. Я надеюсь, что в августе месяце вы непременно будете иметь деньги. Пока будьте здоровы, работайте. Смею думать, что вы теперь не сомневаетесь в желании моем быть по мере сил полезным вам и вашему таланту; надеюсь, что со временем к чувству литературной симпатии прибавится другое, более теплое – личное расположение. Желаю вам всего хорошего.

*Ваш покорный слуга Иван Тургенев.*

Таково было это первое письмо Ивана Сергеевича. Могло ли оно не ободрить двадцатилетнего мальчика?

Сила его действия удваивалась, помню, еще и бескорыстной радостью тому, что сам Тургенев так красив, так ростом велик и плечист, такой «барин»! Мне было приятно быть обязанным человеку, который мне так нравился. Я радовался даже тому, что он богат.

Все некрасивое, жалкое, бедное, болезнен-

ное с виду ужасно подавляло меня тогда, не оттого, чтобы я был сух или несострадательен, а, напротив, потому, что я при первом переходе моем из отрочества в юношеское совершеннолетие принимал все слишком близко к сердцу и в иные минуты уж было мне и не под силу всех и все жалеть, начиная с самого себя и кончая каким-нибудь беззащитным щенком, над которым профессора наши Севрук и Глебов делали такие жестокие опыты! Еще бедное, истерзанное сердце мое не окрепло, не возмужало, не притерпелось, и мне было так приятно порадоваться хоть на чужую силу, на чужую красоту или на богатство, доставшееся хоть не в мои, но в хорошие руки, в руки человека, по моему мнению, достойного всякого счастья.

Я помню это лето (51-го года) в нашем калужском имении. Карамзин сказал про свою первую молодость: «Я помню восторги, но не помню счастья». Мне захотелось, говоря об этом лете в родной деревне, привести эти слова Карамзина, только немного изменяя порядок их: «Конечно, – я не помню счастья, но помню восторги!» Да, я их помню, и обязан я



был ими больше всего Тургеневу.

Я помню одну летнюю ночь... должно быть, в июле месяце. Я долго не мог заснуть от необычайного возбуждения мыслей и каких-то неясных, но восхитительных чувств. Открытое на всю ночь окно моей комнаты выходило в сад. Сквозь марлеву заставку при сильном лунном свете я видел, хотя и смутно, большие липы нашей огромной густой аллеи; видел яблони и груши, знакомые с детства; с полей созревающей за садом ржи раздавался посреди безлюдья громкий крик коростелей... Мало ли сколько раз я слышал этот крик и прежде, и после, но ни разу ни прежде, ни после этот знакомый крик не действовал на меня так сильно, так поразительно, торжественно и странно!

Конечно, не одно это милое и столь ободрительное письмо было причиной моего приятного душевного возбуждения в это достопамятное для меня лето... Были и другие обстоятельства, благоприятные для хорошего настроения моего духа. Особенно – два. Одно из них, для меня очень важное, было прямо связано с мыслями о Тургеневе – вытекало из

знакомства с ним; а другое было совсем случайное, но тоже в моих глазах весьма существенное. Впрочем, я помню, что при тогдашних размышлениях моих и об этом втором, случайном обстоятельстве, хотя на мгновение, но все-таки являлся передо мной с безмолвным благословением призрак моего поэтического орловского помещика. Если бы я на этот раз (только на один этот раз!) – был бы французом или был бы уверен, что могу правильно писать по-французски, то я выразился бы, между прочим, так:... «l'image noble et gigantesque de mon genereux protecteur[6]!» – или вообще в этом роде – вместо этих простых слов «призрак»... Но у нас не полагается так писать. У нас ведь прежде всего надо упомянуть о том, как кто-нибудь «сопел, глаза протирая, плевался, сюсюкал, хихикал» и т. д...

Первое благоприятное для моего настроения обстоятельство, вытекавшее отчасти, как я сказал, из этого счастливого знакомства с Тургеневым, было то, что я именно в это время задумал впервые и решил прервать, наконец, все сношения с Алексеем Георгиевским.

Решение это, не без долгих дум и не без борьбы, созрело и окрепло в душе моей за это лето так сильно, что я тотчас же, по возвращении моем осенью в Москву, привел его в исполнение, и гораздо легче и смелее, чем сам от себя ожидал.

Георгиевский становился все несноснее, придирчивее, несправедливее и неделикатнее; и замечу, только с теми из сверстников, с которыми он был близок, в привязанности которых он был уверен. С остальными людьми он был осторожен, вежлив и даже иногда любезен. Для меня все это было истинной загадкой: сам я решительно подобных чувств и склонностей не понимал. Другого друга своего (нашего же калужского товарища П-ва) он довел своими жесткими шуточками и насмешками до того, что П-в решительно выгнал его из квартиры своей. Но Георгиевский от избытка самомнения стал выше этого, обратил все это в шутку и пришел с какими-то карикатурными ужимками к нему просить иголки и ниток для починки казенного носового платка (он был казенным студентом). П-в, который славился у нас еще

прежде упорством и твердостью характера, доходившей иногда и до тупого упрямства, – не устоял против этого паясничанья своего даровитого друга и примирился с ним. Я помнил этот недавний случай крепко, и молчаливое, затаенное негодование мое на Георгиевского было уже так сильно, что я оказался непоколебимее упорного П-ва.

Привязанность моя к Георгиевскому, в начале университетской жизни нашей столь искренняя и пылкая, начала, положим, уже и зимой остывать под влиянием тех вовсе ненужных и злых гадостей, которые он нам с П-м постоянно говорил; раз я даже на извозчике сказал ему по поводу одной его выходки:

– А знаешь ли ты, что за это по лицу бьют?

Он, как и всегда, нашелся: «Пока меня не ударили, мне право – все равно!»

Драться мы в санях и в треугольных шляпах на улице, конечно, не стали; но я ничего не забыл и все собирал воедино в негодующем сердце моем.

От разрыва меня долго удерживали два чувства; – одно внушало мне какие-то тон-

чайшие сомнения в моей собственной правоте, сомнения уж слишком добросовестные и строгие к себе до несправедливости. Мне часто думалось тогда: «Истинно умный человек не может не быть добрым и справедливым. Георгиевский так удивительно умен; как же может он быть недобр и несправедлив ко мне, который его так любит и которого беседы, ум и дружбу он сам предпочитает обществу и дружбе всех других людей! *Надо еще размыслить: не прав ли он? Может быть, и я виноват? Может быть, я чего-нибудь еще не понял, а он, конечно, уж все понимает!*»

Глупые мысли неглупого мальчика, у которого от боли сердечной и обид ум зашел за разум!.. Именно *зашел дальше*, чем нужно было...

И вот я все искал, чем бы его оправдать, а себя обвинить, и найти не мог. Обиженное сердце с величайшей болью протестовало против всех изысканных и самоукоряющих доводов сбитого с толку ума.

И я все более и более (ничего ему об этом не говоря) начинал, после двухлетней веры в непогрешимость его «гения» и даже его нрав-

ственного суда, — предполагать, что даже и он может быть неправым.

Другое чувство, которое долго мешало мне прекратить с Георгиевским все сношения, была потребность так называемого «обмена» мыслей высшего порядка. Я около себя не находил, кроме него, ни одного человека, с которым бы я мог так много, так свободно и так «современно», как говорится, рассуждать о Пушкине и Гомере, о Гоголе и Белинском, о любви и дружбе, о вере и безверии, об общих началах науки и поэзии. Говорили многие довольно умно, читали... Но мне всего этого было мало, а его независимый и мощный ум не только удовлетворял, но даже и подавлял меня беспрестанно.

Как только я познакомился с Тургеневым, как только Тургенев признал во мне талант, я понял, что *теперь* я в силах буду найти себе и помимо Георгиевского собеседников «наивысшего порядка», и что мой самодовольно-ядовитый и без достаточной причины придирчивый товарищ мне уж не так необходим для умственной жизни, как я с полгода тому назад воображал.

И вот, гуляя один по нашим живописным кудиновским рощам и липовым аллеям, я думал, думал, думал и... и надумался...

Какая-то струна в сердце моем от этой думы, долгой и упорной, – перетерлась и порвалась раз навсегда, невозвратно!..

Пока я воображал смиренно, что мой ежедневный обвинитель и жестокий судья – непогрешим мыслью своею, я не смел, *во имя идеальной правды*, расстаться с ним. Пока я боялся, что без него мне не с кем будет говорить о том, например, какая разница в характерах у Онегина, Печорина и Бельтова («Кто виноват?») и *на которого из них лучше быть самому похожим* в жизни и т. д. Пока я боялся, что некем будет с этой стороны заменить его – я терпел. Теперь – я не желал более терпеть и не боялся с ним расстаться.

В начале сентября, в Москве, когда начались уже лекции, Георгиевский пришел ко мне вечером. У меня в это время сидел еще другой молодой человек, некий русский-француз Эж. Р., давний тоже калужский сверстник и приятель, также весьма неглупый, но совсем в другом роде: простосердеч-

ный, веселый, легкомысленный и добрый.

Начался разговор и очень скоро перешел на литературу.

– А ты как там ни толкуй, *молодой писатель*, – сказал Георгиевский, – а твой Тургенев все-таки немного *мелкопоместен* (Георгиевский любил придумывать такие необыкновенные выражения). Вот, например, этот «Бежин луг». К чему эти подробные описания всех этих облаков утром... Помнишь?... *уж больно густо!* Подумаешь, человек для того пишет, чтобы побольше за лист взять... «Дадут за лишний лист, да еще скажут про меня – «художник!» (Слово «художник» он произнес с насмешливой, сантиментальной ужимкой и претенциозным голосом).

Я возмутился и отвечал:

– Послушай, что ты говоришь «за лист»... Ведь у него больше тысячи душ крестьян! Он получает по 50 р. с. за лист; сколько ж за это описание придется? Быть может, 5 рублей.

– Ну, так вот: «художник!», – повторил он тем же тоном и потом продолжал: – Перечел я недавно «Наташу» и «Аптекарьшу» графа Соллогуба. Вот это чувство! и простота, и художе-



ственность настоящая... На что уж я, кажется *un ours*[7]... Как это у вас, господа, говорят?... *Un ours*... уж не «*moscovite*» даже, а «*de Borowsk*»..., а кончая «Наташу», заплакал... И «Аптекарьша» тоже – какая искренняя и прекрасная вещь! Эти немцы русские в уездном нашем городке и немцы немецкие в Дерпте... Эта девочка в коленкоровой шляпе, дуэль, старик профессор!.. Прелестно!.. «Мысль обрела язык простой и голос страсти благородный»... А у Тургенева все какие-то штучки, вроде комизма или юмора – как-будто что-то и гоголевское... Да куда! Далеко кулику до Петрова дня!.. А хочется тоже! Нет, брат, как хочешь, мелкопоместен он, мелкопоместен... Я думаю, он никогда не будет даже в силах написать длинную и серьезную вещь. Вот Писемский – хоть твоей, так сказать, женственности, «Тюфяк» его и противен, я знаю... А он скорее Тургенева создаст объективное и сложное произведение... Даже вы, молодой автор, вы, я полагаю, скорее Тургенева способны сочинить сложный план большого романа... Конечно, надо стараться, *мал-дой че-к*, надо стараться! – прибавил он уже с веселым

добродушием, представляя какого-то началь-ника.

На все это я ответил только, что я с этим не согласен и, может быть, даже и *не понимаю* всего этого.

Георгиевский в ответ на это продекламировал свое четверостишие, сочиненное им еще прежде не на меня, а на другого нашего товарища, лирического стихотворца:

*Ты многого не понимаешь,  
И многого, быть может, не пой-  
мешь!  
Ты только то порядочно поешь,  
Что сам в себе лишь замечаешь.*

– Впрочем (поспешил он прибавить), вто-рой стих к тебе не приложим. Ты «многое со временем поймешь», «чего теперь не замеча-ешь»... Вот, граф, как я для вас это... *перифра?.. пере?.. фрази?.. Перифрадьяволил?..*

Такой обычной ему выходкой кончил Ге-оргиевский свой жестокий критический по-ход на Тургенева, которого слава была еще да-леко впереди.

Каково было мое удивление, когда лет че-рез десять, если не более, я начал вдруг нахо-

дить, что этот сын бедного воровского «приказного», ничего кроме калужской гимназии прежде не выдавший, незнакомый вовсе с иностранными языками, несравненно менее меня с ранних лет начитанный (я уже и в детстве много вовсе *не-детского* – успел прочесть и по-французски и по-русски), – что он был, если не во всем и не совсем, то *почти* все-таки прав в своей строгой художественной оценке!

Но это понимать я стал уже *тридцатилетним* мужем, а он был до того способен, что в двадцать три года опережал не только нас, ровесников, но даже и *будущую критику*, и русскую, и иностранную. Нельзя, разумеется, и теперь не ценить таланта Тургенева, но нельзя же и равнять его, напр., хоть бы со Львом Толстым, а в некоторых отношениях его надо поставить ниже Писемского, ниже Достоевского, ниже Щедрина. По лиризму – гораздо ниже Достоевского; по широкой и равномерно разлитой объективности – ниже Писемского; по силе ядовитого комизма (от которого Тургенев был все-таки не прочь) и по пламенной сатирической злобе – ниже

Щедрина, за которым и не разделяющий его направления человек должен все-таки признать эти свойства.

Да! 21-го года – я был не в силах сравняться в силе критической с моим гениальным Георгиевским! Но самая эта сравнительная слабость мысли послужила *в то время* мне на пользу... Слабость мысли придала мне силу воли, силу решимости – покончить с ним сразу все!

Немного погодя, он собрался уходить. Я при французе нашем не хотел ничего обнаружить, а сказал Георгиевскому: «Ну, хорошо, пойдем... Я провожу тебя по двору до ворот». Эжен Р. сделал было тоже движение какое-то... (ночь была лунная, хорошая), но я взглянул на него так значительно, что он понял и остался.

Мы шли по двору сначала молча... Мне было больно, очень больно... Георгиевский, наконец, догадался, что это неспроста, и полуплутливо спросил, подходя к калитке: «Батюшки! Что это такое значит?»

– А то значит, – сказал я, протягивая ему руку, – что я прошу тебя никогда больше ко

мне не ходить и, встречаясь, не заговаривать даже со мной, а оставить меня в покое.

Он тихо пожал мне руку и молча ушел. Я вернулся к себе и со вздохом опустился на диван. И больно, и легко!

Мой опытный и живой Эжен начал спрашивать:

– Что такое? Что такое? Секрет?

Я рассказал ему.

Эжен, слушая, улыбался не то одобрительно, не то скептически и, наконец, сказал:

– Однако, какой ты стал решительный! Ведь ты так любил его!

– Люди, голубчик, обучат решительности. Всему, и моей уступчивости, и моему ослеплению есть предел! – возразил я этому доброму малому, который ни на что подобное по слабости и легкомыслию своему не был способен.

Я сказал, что слабость мысли придала мне силу решительности. Надо объяснить это.

Что *часть* критических нападок его на Тургенева была справедлива, я тогда понять не мог, а слышал только в речах его звуки какого-то личного злорадства; я прочел в них

неблагородное желание отравить недавнюю радость товарищу, который так его любил, так смирялся перед ним и так много за последнее время страдал.

– Что-нибудь одно: или он все это в самом деле думает, или назло мне говорит. Если он говорит то, что думает, то он не прав *умственно*; значит, он ошибается как критик. – Что ж тут худого, что «Записки охотника» так похожи на жизнь этой милой мне русской провинции? «Мертвые души» эти, над которыми он, Георгиевский, чуть не ежедневно с восторгом хохочет, – *на жизнь все-таки не похожи*; все-таки в них изображена одна пошлая ее сторона... Я недавно только под его влиянием *понудил* себя второй раз их прочесть; понял наконец, что художественность велика в самом деле и все-таки *молча* пожал плечами и сказал себе: да мне до этого какая нужда! Я и без этой «великой поэмы» знал, что есть мошенничество, что от Петрушек и Селифанов часто дурно пахнет и т. д. А Тургенев научает меня, что хорошо и что дурно в нашей помещичьей жизни, что гуманно и негуманно, что поэтично и что пошло; он

незаметно указывает мне, как мне вести себя. Он беспрестанно, кроме того, в «Записках охотника» напоминает мне своими чувствами мои собственные, естественные чувства, когда я живу в Кудинове и езжу оттуда в уездные наши города, в живописный Юхнов, или в Мещовск, или даже в Калугу... А так, как чувствуют действующие лица «Мертвых душ» или даже сам Гоголь, я никогда не чувствовал и *не буду... Не хочу...* Разве вот сравнение России с *тройкой*? Нет, Георгиевский ошибается! Это натяжка – это восхищение «великой поэмой», и для меня «Записки охотника» выше – и кончено!..

Такова была моя тогдашняя юношеская, *сердечно-тенденциозная* критика! Конечно, я был в этом не совсем прав, но я был прав в том, что в его рассуждении о Тургеневе я слышал некоторое злорадство. Если и признать, что слова его были искренни, то все-таки *аккомпанемент* этих слов, сердечная музыка его речей в этом случае была нечистая, недобрая.

Я бы не *так* и не *таким тоном*, кажется, говорил бы, если бы я был на его месте, а он

на моем, подумал я.

Подумал я это – авторитет его, и умственный, и нравственный, вдруг пошатнулся; перетертая уже прежде струна бескорыстной, молодой дружбы лопнула... *и все было конечно – раз навсегда!..*

Три года еще мы пробыли вместе на медицинском факультете; встречались на лекциях; сначала издали иногда кланялись друг другу; я не чувствовал ни малейшего сожаления. Он один раз попытался было завести разговор; подошел, с радостным видом подал руку и сказал:

– Ты в лице так поправился, посвежел, и взгляд стал бойчее... Я очень рад...

– Да, мое здоровье теперь лучше, – ответил я и тотчас отошел прочь.

После этого, встречаясь изредка (мы впоследствии были на разных курсах), мы перестали друг другу кланяться.

Ненависть моя против него вначале, после разрыва, была так велика, что я несколько раз на лекциях, узнавши издали его голос или его какую-то особую, изысканную манеру покашливать, исполнялся злобою и с наслажде-



нием воображал его убитым и лежащим передо мной на земле в крови... Это было совершенно произвольное движение сердца, и оно стало повторяться все реже и реже, по мере того, как я реже и реже встречал его. Я понемногу стал к нему равнодушен.

Жизнь моя текла с тех пор своим путем и мысль моя развивалась, как ей было предначертано развиваться, без всякого его участия. И с тех пор я никогда уже не отдавался никому душой и умом так безусловно... То сердечное и умственное рабство, с которым я прожил около двух лет тогда, уже ни разу и ни в какой форме не повторялось в моей жизни, и мне впоследствии времени нужно было делать даже усилия ума, чтобы вообразить себя в этом состоянии, чтобы понять, как это так могло *со мной* случиться, и как это я мог так покорно его любить!

Тургенев не имел на меня и десятой доли его *умственного* влияния; а про чувство сердца или про какое-нибудь *невольное* подчинение воли и помину быть не могло, ибо сношения наши с Тургеневым для этого были сравнительно слишком поверхностны, и свиде-

ния даже слишком редки.

К тому же, восхищаясь Тургеневым всячески, признавая его авторитет настолько, насколько необходимо юноше признавать авторитет дарований и опыта в старших (чтобы не выйти самому надменным и грубым дураком), – я все-таки и тогда сознавал, что ищу в нем, до известной степени, и *внешней* силы, *внешней* для своих дел опоры, литературной протекции, ободрения, помощи, практических советов и т. д. А что в этом роде мог сделать для меня казенный студент Георгиевский, никому не известный и во всех отношениях в обществе хуже и ниже меня поставленный?.. Поэтому и чувство мое к нему было бескорыстнее, чем к Тургеневу, и мое «обожание» его ума безусловнее, чем почтение мое к дарованиям Тургенева.

Впрочем, взявши в расчет года Георгиевского, его слабую подготовку, его сравнительную необразованность и тесный, бедный, даже жалкий житейский круг, в котором он вращался, я готов, пожалуй, и теперь признать, что изо всех знакомых мне лично в жизни разнообразных людей он был, быть

может, и в самом деле самый гениальный по природным своим дарованиям. И, признаюсь, мне даже очень досадно, что я не могу гораздо подробнее и *доказательнее* говорить здесь об нем.

А все-таки мне стало гораздо просторнее дышать на свете, когда я в *это лето* (51-го года) *решился* прекратить с ним сношения.

Другое обстоятельство, благоприятное для моего вдохновения, все в то же лето, было то, что ни один из моих старших холостых братьев не гостил на этот раз в нашем Кудинове. Они по многим причинам мне очень не нравились и во многих отношениях, вероятно, и сами того не подозревая, стесняли меня. Я не хочу здесь судить их строго или нападать на них – оба они уже померли. Уж если нужно кого-нибудь по этому поводу строго судить, то скорее всего самого себя за слишком тонкую тогдашнюю эстетику мою... Я в то время стал находить, что поэт, художник, мечтатель и т. п. (особенно желающий сам быть по мере сил *лично поэтичным*) не должен иметь никаких этих братьев, сестер и т. д. Можно иметь мать; ну, пожалуй, почтенного отца;

тетку добрую, дядю, наконец (особенно холо-  
стого и *одинокого* – это как-то лучше!..) Но  
братья, сестры... Особенно братья... Да еще  
старшие... Это несносно!.. Права – на фамили-  
арность какую-то, непонимание, неделикат-  
ность и т. д.

Я так стал думать, перейдя за двадцать лет,  
и продолжал держаться этого мнения очень  
долго... Нужно мне было дойти до 40 лет и пе-  
режить крутой перелом, возвративший меня  
к *положительной* религии, чтобы я был в си-  
лах вспомнить, что привязанность к родным  
имеет в себе нечто более христианское, чем  
дружба с чужими по своевольному избранию  
сердца и ума. Христианство, конечно, не за-  
прещает и последней; оно даже одобряет ино-  
гда отчуждение от родных, если это отчужде-  
ние происходит почему-либо во имя *веры*; я  
не про это говорю; я хочу сказать только вот  
что: *смирения* перед волей Божией гораздо  
больше в принятии данных нам судьбою  
близких родных, без всякого участия нашей  
воли и вкуса, чем в том свободном избрании  
дружбы и любви, которою мы все так есте-  
ственно расположены дорожить.

Разумеется, и христианин самый искренний и твердый в убеждениях своих может поспориться с близкими и удалиться от них; но он не станет из гордой поэзии какой-то обращать этого удаления и разрыва в принципе в нечто вроде долга самоуважения.

Мое воспитание, увы! строго-христианским не было и я уже в то время *задумывал, как бы стать* подальше от братьев и сестер (особенно от братьев), не огорчая слишком матери, которую я очень любил и жалел. И признаюсь, мне стало гораздо приятнее жить на свете, когда я со всеми ними (за исключением одного) прервал позднее и навсегда все сношения.

В тот год, о котором тут идет речь, конечно, недоброе чувство это не обратилось еще в систематическое правило, но оно было все-таки уже настолько сильно и настолько сознательно, что мне было несколько неприятно знать, что даже *и у Тургенева есть ни к селу, ни к городу какой-то брат Николай Сергеевич*. Утешал я себя, впрочем, тем, что Тургенев в своем Спасском живет и пишет один, и никто не мешает его вдохновению, никто не вертит-

ся некстати у него перед глазами в его возвышенном одиночестве...

Относительно себя и своей обстановки я уже и тогда утратил прежнее отроческое добродушие, которое радовалось и веселилось на многолюдство родной семьи, и начинал все больше и больше утверждаться в мысли, что в «моем» (*не юридически, а душевно* моем) Кудинове, где цветник на большом дворе так узорно-красив, где аллеи в саду так длинные и таинственны, где самый шум деревьев для меня как будто осмысленнее и многозначительнее, чем тот же шум в других местах, – что в этом Кудинове должно существовать только то, *в чем я находил поэзию*: мать умная, образованная, красивая, оригинальная, энергичная; тетка – старушка, горбатая, приятно-безобразная, приятно-ограниченная, смиренная, набожная, меня не только любящая, но чуть не почтением меня почитающая; няня – чрезвычайно умная, несколько злая, но в высшей степени оригинальная, безграмотная и русская вполне, но на простую, «классическую», добрую няню вовсе не похожа. И кроме этих трех старых женщин, кроме мужиков и

дворовых кудиновских и меня самого – никто бы не должен жить здесь! Здесь все должно быть поэтично и характерно! А братья мои, казалось мне, были ни то ни се.

Положим, что в смысле строгого «вкуса», собственно, я был, пожалуй, и прав; и сверх того они как старшие позволяли себе в обращении со мной такие оттенки, которых *я-то* позволять не желал им более по мере того, как выростало и созревало мое самолюбие. Все это так, положим.

Но, повторяю, если бы воспитание мое было более христианским, то и самое удаление мое от них не дошло бы (как оно впоследствии дошло) до враждебного с ними разрыва. Инициатива разрыва была моя и выдержка в нем до конца тоже моя. И я был против них много виноват и грешен! До этого было, впрочем, в 51-м году еще довольно далеко; но я помню очень твердо, что в *то лето* явилась у меня впервые ясная, сознательная мысль о том, что и с *ними*, с этими братьями, хорошо бы как можно реже видаться и что их отсутствие действует на меня очень приятно и даже вдохновительно.

При чем же тут Тургенев? Вот при чем: при многосложной, болезненной, утонченной работе моей неопытной, еще не утвердившейся совести, при жестокой иногда борьбе «поэзии с нравственностью», при тогдашней моей *нравственной* требовательности от себя и *эстетической* придирчивости к другим мне необходимо было для успокоения душевного узнать: *имею ли я право и основание так чувствовать и так думать?*

Мне нужно было проверить себя посредством хотя бы мысленного обращения к какому-нибудь признанному мною же авторитету. И вот я вызывал не раз из Орловской губернии сюда к нам, в Калужскую, тень изящного, даровитого и крайне доброго, гуманного, как я был убежден, «Охотника» с его ружьем и собакой и говорил сам себе так:

«Вообрази себе в самом деле, что этот самый Тургенев вместо того, чтобы жить где-то около Мценска, был бы нам соседом и зашел бы усталый к нам с ружьем. Как бы теперь (когда братьев моих нет) ему бы все у нас понравилось! Не богато, но дом большой, удобный, и благодаря уму и тонкому вкусу мате-



ри – как все своеобразно и красиво! Красивее и милее, чем у многих богатых. Все бы ему понравилось: и сад – огромный, романтический, и дом веселый, и обед, и сама мать, и тетушка в чепце с перелинкой на большом горбу!., а братья? Нет, нет, они не могут нравиться человеку с высоким вкусом... Я ведь их не гнал отсюда и гнать даже ни власти, ни права не имею... *Я только рад, что их нет...* И, конечно, сам Тургенев, у которого и лицо такое доброе, и которого сочинения так гуманны, не осудил бы мою радость как радость жестокую или низкую».

Вот в каком смысле я говорю, что Тургенев *в это время*, сам того не подозревая, влиял издали даже на мою частную, личную жизнь, на мои вкусы, желания и на такие *решения*, от которых прочного поворота назад в жизни уже не бывает.

Поздней осенью Тургенев, проезжая в Петербург, пробыл в Москве несколько времени и виделся со мною не раз и познакомил меня с графиней С, в доме которой я потом встречал Кудрявцева, Грановского, М.Н. Каткова, П.М. Леонтьева, Е.М. Феокистова, графиню Ростопчину, Щербину, В.П. Боткина и раза два видел автора «Свадьбы Кречинского», Сухово-Кобылина. Это был тогда очень смуглый и очень красивый брюнет, собою видный, рослый, с чрезвычайно энергичным выражением лица. Он мне очень понравился.

Напротив того, В.П. Боткин, которого письмами об Италии я еще года за два до этого восхищался, читая их в «Современнике», пришелся мне вовсе не по сердцу. Тургенев стоял в красивой и богатой гостинице Мореля на углу Петровки. Я сидел однажды у него поутру и внимал его наставлениям. Кто-то вдруг постучал в дверь. Тургенев сказал: «Войдите». Я был, конечно, очень раздосадован, что нам помешали... Вошел невзрачный мужчина средних лет, в темно-коричневом сюртуке,

плешивый, бледный, с неправильными, но довольно выразительными чертами лица. Тургенев нас познакомил: «Вот г. Леонтьев, молодой, начинающий писатель; а это г. Боткин, писатель старый»...

– Да, старый, очень старый, совсем плешивый, – сказал Боткин весело и погладил свою лысину.

Я таких в то время не жаловал, и на внешность обращал внимания гораздо больше, чем случается вообще с молодыми людьми моего тогдашнего возраста.

Эта склонность, вернее сказать, бескорыстное пристрастие к людям красивым, или физически сильным, или очень изящным с виду было тогда у меня в значительной мере сознательное, даже, пожалуй, систематическое. Почему? Я объяснить здесь не могу; ибо если бы я начал распространяться обо всем том, что невольно приходит на ум при воспоминаниях о том времени, когда я разрывался между медициной и поэзией (и когда в то же время я ими обеими равносильно развивался), то этой статье и конца бы не нашлось...

Мне Боткин не приглянулся. Мне стало

очень досадно, зачем такой плешивый и невзрачный ездил в страну Абен-Хамета и Сида, в страну Альгамбры и боя быков! «Тургенев и Сухово-Кобылин имели право там жить, но не человек с подобной наружностью»... Эта мысль так сильно овладела моим воображением, что не более как через год или два после этого первого моего знакомства с Боткиным, я, встретивши его раз у одного общего знакомого, ни с того ни с сего позволил себе весьма неприличную выходку... Я вдруг обратился к нему нарочно очень почтительно и любезно с такого рода вопросом:

– Скажите, пожалуйста, Василий Петрович; но только откровенно – вы в самом деле были в Испании или нет?..

Боткина так и передернуло... Он пожал плечами, взглянул сердито и воскликнул: «Какой странный вопрос!»

Досада его была вполне основательна, и моя мальчишечья выходка была не то, чтобы бестактна (преднамеренное нельзя назвать бестактным), а просто глупа и дерзка. Есть небольшое подозрение, что Боткин в одном случае (незначительном, положим) *лет через*

восемь мне отомстил или по крайней мере попытался отомстить за это рукою Тургенева... Но об этом после.

С Боткиным Тургенев был, видимо, очень близок; хотя, судя по некоторым признакам, не особенно ценил его характер. Он при мне один раз другим говорил так, сравнивая Боткина с Фроловым (писавшим об А.Ф. Гумбольте в «Современнике» 1848–1849 года):

«Приятно ли или неприятно мне с человеком – это ведь совершенно не зависит от нравственных его достоинств... Вот, например, Фролов и Боткин. Ведь с точки зрения нравственного характера их и сравнить трудно. Фролов человек с убеждениями; ну, а Василия Петровича вы знаете сами... Однако с ним весело, а Фролов наводит на меня такую невыносимую тоску, что мне кажется – свечи начинают ярче светить, когда он выйдет из комнаты».

Комедия моя «Женитьба по любви» была давно уже отправлена Тургеневым в Петербург, к Дудышкину, критику и главному помощнику А.А. Краевского по редакции «Отечеств. записок».

Продолжая всячески ободрять и утешать меня, Тургенев привез с собою из деревни письмо, которое написал ему Дудышкин по прочтении моего первого произведения. Оно было в высшей степени лестно для начинающего. Дудышкин «не хотел верить, что мне только 21-й год» и признавал, что при всей давней привычке своей к подобного рода чтению он готов был прослезиться под конец над горькой участью Киреева.

Показывая мне это письмо, Тургенев заметил еще от себя: «Особенно верна у вас одна весьма дурная черта в характере Киреева – это слабость, переходящая в грубость... Это очень верно!»

Я на это с молодой и, быть может, бестактной откровенностью сказал ему: «Я очень рад, конечно, что и вам, и Дудышкину моя комедия так нравится; но это все так близко мне, а самому походить на Киреева – это ведь ужасно... Лучше на свете не жить!..»

– Раз вы могли написать эту вещь и так строго отнестись к вашему герою, – возразил мне мой добрый утешитель, – вы уже этим самым доказали, что сами вы не Киреев... Это

только временное настроение больного воображения. Впрочем, человеку очень трудно понять, какое впечатление он произведет на других; вы совсем не производите такого впечатления, как ваш Киреев.

Я сам это *почти* сознавал: напр., этой отворачивательной черты характера «слабости, переходящей в грубость», на которую он обратил внимание, – похвалюсь смело – у меня во все не было. Слабость, конечно, бывала, и нередко, быть может, и большая; но она была у меня совсем другого оттенка. А эту черту я, вероятно, подметил у кого-нибудь из тех близких родных моих, которые мне не нравились.

Было у нас с Тургеневым в этот приезд его довольно много и других разговоров разного рода.

Один раз, помню, он сидел в своем красивом номере на столе; а я стоял около него и, любуясь на его широкие плечи и выразительное, благородное лицо, сказал ему:

– Не знаю, что это на меня действует: медицинские ли занятия развивают во мне потребность какого-то сильного физиологиче-

ского идеала или этого требуют мои художественные наклонности (я ведь и рисую самоучкой, кажется, недурно), только я ужасно люблю смотреть на людей сильных, здоровых, красивых; я когда шел к вам в первый раз, ужасно боялся, что найду вас похожим или на вашего чахоточного «Лишнего человека», или, еще хуже, на «Щигровского Гамлета». Лишний человек хоть на дуэли с князем Н. дрался и даже ранил его; а Гамлет ваш даже табак нюхает! Это ужасно! И когда я увидел, что вы такой большой и здоровый – я очень обрадовался. Особенно не люблю, когда литераторы с виду плохи – так мне это тяжело и грустно...

Пока я это все говорил, у Тургенева совсем изменилось лицо: оно стало мрачно, глаза сделались задумчивые, даже грустные. Я подумал, что он не желает почему-то продолжать этот разговор, и замолчал.

Потом общие наши знакомые сказали мне, что он человек весьма болезненный, вовсе не особенно силен и часто хворает. Поэтому что-нибудь одно из двух: или мои слова – «здоровый, сильный человек» – напомнили ему о



тяготивших его недугах, рассказывать о которых он не желал; или, напротив того, речь моя ему так сильно понравилась, что он нашел нужным скрыть от меня свое удовольствие...

Если так, то он скрыл его очень хорошо; я никогда не забуду печальную, суровую и глубокую тень, набежавшую внезапно на его лицо; так это было выразительно! Но побуждение его осталось для меня и теперь загадкой. Предполагать ведь все на досуге можно; но как доказать?

Говорили мы в этот раз с Тургеневым и об литературе вообще, и об русских писателях.

Всего вспомнить не могу, но что помню, то помню верно и твердо.

Тургенев убеждал меня не только читать почаще Пушкина и Гоголя, но даже изучать их внимательно.

— А нас-то всех: меня, Григоровича, Дружинина и т. д., пожалуй, можно и не читать, — прибавил он.

Насчет Пушкина я вот что скажу. Мне именно около того времени Лермонтов, более резкий, более страстный и мрачный, стал

больше нравиться, чем светлый и примиряющий Пушкин. Все, что я встречал у Пушкина, мне в то время стало казаться слишком легким, как будто поверхностным и чересчур уже известным и простым. Это случается, впрочем, со многими другими неопытными и сильно все чувствующими молодыми людьми. Их потребности сильного, раздирающего душу впечатления от поэзии не скоро удовлетворишь.

Авторитет Тургенева, не обративши меня сразу, конечно, заставил меня, однако, опять задумываться над этим Пушкиным, который не более как года за два до этого царил еще над всеми поэтами в отроческом сердце моем. Неиспорченное еще, полудетское чувство было вернее всех изысканных утонченностей позднейшего моего вкуса, который и после еще долго не мог возвратиться на правильный путь.

Что касается до Гоголя, то в пору этих свиданий наших с Тургеневым он был еще жив; я знал, что он в Москве, но не имел ни малейшего даже желания видеть его или быть ему представленным, потому что за многое питал

к нему почти личное нерасположение. Между прочим, и за «Мертвые души», или, вернее сказать, за подавляющее, безнадежно прозаическое впечатление, которое производила на меня эта «поэма». Положим, что безукоризненную и вескую художественность этого произведения я уже начинал сознавать; Белинский своими статьями и Георгиевский своей изустной критикой утвердили меня в этом последнем понимании; но что ж мне было делать, если во мне неискоренимо было то живое эстетическое чувство, которое больше дорожит *поэзией действительной жизни, чем художественным совершенством ее литературных отражений!*

Ни карикатуры слишком жестокой, ни сатиры, ни комизма с ядовитым оттенком я никогда особенно не любил, а тогда, весь и за себя, и за других исстрадавшийся, я даже ненавидел все это – и Тургеневу пришлось напоминать мне о «Тарасе Бульбе», об очерке «Рим», о могучей поэзии повести «Вий», чтобы помирить меня с гением, которого последние и самые зрелые, но злые все-таки и сухие творения («Ревизор», «Игроки», «Мертвые ду-

ши») почти заслонили от меня все эти другие восхитительные его повести; восхитительные не только по форме, но и по содержанию, по выбору авторского мировоззрения.

Тургенев повторил также одобрительно мнение Герцена о том, что «Гоголь бессознательный революционер», потому что он изображает русскую жизнь с самой пошлой, возмутительной точки зрения... Одобрял, впрочем, он Герцена (я это хорошо помню) – не в смысле *политическом*, не в смысле какого-нибудь прямого сочувствия или коренным реформам, или народным восстаниям, а только в том смысле, что Герцен верно понял *тот род влияния*, который, между прочим, могут иметь сочинения Гоголя независимо от собственной воли автора и неожиданно для его сознания. Эта мысль, совершенно для меня новая, изумила меня, но *как-то неубедительно*, она опять сделала только некоторый вред Гоголю в моем мнении и больше ничего... Я слишком многое любил в русской жизни; *другой* жизни никакой не знал тогда – разве по книгам; слишком многое мне в этой окружающей меня русской жизни нравилось, чтобы

я мог желать в то время каких-нибудь коренных перемен; я хотел только, чтобы помещики и чиновники были к простолюдинам как можно добрее, и больше ничего; о *государственных же собственно* вопросах я и не размышлял в эти года; я даже вовсе тогда не понимал их и не искал понимать, сводя все на вопросы или личного счастья, или личного достоинства, или на поэзию встреч, борьбы, приключений и т. д. В этом смысле я и на революции в чужих странах смотрел не как на *перестройку* обществ, а только как на *инсurreкции*, опасные, занимательные; я смотрел не с *телеологической* точки зрения на все подобные движения, не с точки зрения их целей, а со стороны их *драматизма*, поэтому я и поэзию находил, где придется, и в *той* и в *другой партии*, смотря по человеку и по обстоятельствам. (Например, революция 48-го года мне почему-то, сам теперь не пойму, нравилась; а когда позднее Наполеон сделал ночной *coup d'Etat*[8] и проехался по Парижу верхом, в мундире и с напыженными усами, мне и это очень понравилось.) Я полагаю, впрочем, что революция 48-го года мне нра-

вилаась только потому, что в «Иллюстрации» французской, которую мать моя получала, были очень *героические*, занимательные картинки, и, вероятно, потому еще, что французы сочиняли тогда очень смешные песни, вроде следующей, которую мне так напел только что вернувшийся из Франции Эжен Р. (тот самый, который присутствовал при свержении мною ига Георгиевского), что я начало ее и до сих пор не могу забыть:

*Partons, mon ami Guisot! (говорит  
король Луи-Филипп).*

*Vite, il n'est pas trop tot —  
Mai va notre affaire  
Car le peup' parisien  
Trouve que ca n'va pas bien  
Depuis la semaine derniere...  
Decampons, decampons...*

и т. д.

И потом:

*Adieu, l'poulet, l'dindon!  
La faridondaine, la faridondon  
Fourrez moi deux dans mon habii,*

*Biribi,  
A la facon de Barbari —  
Mon ami... [9]*

и т. д.

А до того, кто и что будет господствовать в Европе, капитал или труд, буржуазия или еще кто, — мне тогда дела было очень мало; да и бедная молодая голова уже и так едва вмещала всю бездну других новых мыслей, почти внезапно закипевших в ней при переезде в Москву и при переходе в настоящую юность, за 20 лет...

Интересоваться политическими вопросами я стал гораздо позднее этого, годам к тридцати, а *понимать* их еще *позднее*. Замечу, кстати, мимоходом, что хотя многие из современных, *нынешних* юношей гораздо более нас, *юношей 50-х годов*, интересуются политикой, но из этого они никак не должны заключать, что они и *понимают* ее лучше нашего. Я полагаю, что умственный закон остается тот же для всех. Юноши увлекаются в ту или другую сторону своими сердечными чувствами; они все более или менее пристрастны в суждениях политических, так или ина-

че, под влиянием воспитания, личных обстоятельств, удобных или тяжелых и т. п. А *ясное государственное суждение* может утвердиться только позднее. Исключением могут быть только те из очень молодых людей, которые находились с ранних лет под каким-нибудь очень близким и прямым влиянием старших деятелей практической политики; рано попали, по протекции и связям, на довольно значительные дипломатические должности и в сферы высшей администрации. Я говорю теперь не в смысле консерватизма или либерализма, т. е. не в смысле преданности тому или другому направлению, а только, повторяю, в смысле *ясного понимания*. Впрочем, относительно нынешних юношей, я, может быть, и ошибаюсь... Не ручаюсь наверное, но встречал я многих из них; а этого *ясного понимания* и в 70–80-х годах не замечал ни у одного 20–25-летнего... Всем нужно было *объяснять* почти так же, как дамам или грамотным мужикам...

Если таковы нынешние юноши, то каков же я был по этой части в начале 50-х годов! Я и знать даже ничего подобного не хотел (и,



по-моему, это и хорошо; чем меньше мешаются женщины и юноши в государственные дела, тем эти дела лучше идут).

Я вот и запомнил твердо слова Тургенева о том, что Герцен был первый, который высказал о Гоголе такое мнение: «Он бессознательный революционер». Но слова остались в памяти, а влияния на меня непосредственного они вовсе не имели...

Меня все-таки еще долго продолжало гораздо больше интересовало то, что Гоголь лицом на какого-то неприятного полового похож, или то, отчего это у него *ни одна женщина* в повестях на живую женщину не похожа: или – это старуха вроде Коробочки и Пульхерии Ивановны, или какая-то тень вроде Анунциаты (Рим) и Оксаны; какое-то живописное отражение *красивой плоти*, не имеющей души... «Очи как молния», «красавица» и т. д. – тогда как все эти совершенства вовсе даже не нужны, чтобы женщина внушала человеку чувство сильной любви... А революционер ли Гоголь или нет – мне не до того было тогда! Просто, наконец, недосуг подумать... О Гоголе я, впрочем, буду вынужден, вероятно, в дру-

гом месте довольно подробно и «по-своему» упомянуть...

Упоминал также в этот приезд свой Тургенев о других русских писателях, которых тогда называли «второстепенными» (по сравнению с Пушкиным, Гоголем, Грибоедовым или Лермонтовым), о себе, о Григоровиче, Гончарове, Евг. Тур и Достоевском. Замечу, что первое произведение Льва Толстого «Детство» явилось, кажется, через год или полтора позднее, а Писемский незадолго перед тем (в прошлую зиму 51-го года) напечатал первый свой роман «Тюфяк», о котором почему-то в этот раз Тургенев не упомянул. Моего Георгиевского «Тюфяк» восхитил донельзя, а на меня произвел такое удручающее, отвратительное впечатление своим содержанием, что я долго после этого (до появления «Тысячи душ») и помириться с автором не хотел. «Тюфяк» возмутил меня еще болезненнее «Мертвых душ», ибо, сколько бы ни восхваляли «Мертвые души» и Тургенев, и Белинский, и сам Георгиевский, я, не дерзая еще слишком противоречить этой исповедуемой мною критической триоце и не умея даже тогда формулировать

*мое упорное внутреннее чувство* в вид мысли, все-таки смутно чувствовал, что «Мертвые души» не что иное как гениально написанная, односторонняя, преувеличенная карикатура; а «Тюфяк» (уввы!) был гораздо реальнее и ближе к действительности, ибо содержание его было *живее, полнее*; в нем была *любовь*, было много *сердечного чувства*... Но тем-то он и казался мне особенно ужасным, этот жалкий, некрасивый, всеми попираемый герой; эти так бессмысленно и так прозаически терзающие друг друга люди! Эта неожиданная и бессмысленная смерть героя в своей глухой деревне от подлой этой холеры, после будничных ссор с женой!.. Это все я находил ужасным и долго за это ненавидел талант Писемского, понимая и признавая его силу... «Зачем такую мерзость и так равнодушно и холодно выбирать!» Вот за что!

О других того времени русских писателях Тургенев говорил мне, что из них только один Гончаров обладает даром «архитектурной постройки», что он обнаружил этот дар в «Обыкновенной истории» (Из «Обломова» в то время был напечатан только один прекрас-

ный отрывок «Сон Обломова»). Ни у себя самого, ни у Григоровича, ни у Дружинина этой «архитектурной» способности Тургенев не находил.

Он очень хвалил «Ошибку» – первую повесть Евг. Тур за то, что в ней слышен «жар искреннего внутреннего чувства». – Эта искренность сильного личного чувства неотразимо действует на читателя, – сказал он.

О повестях Григоровича я не помню, что он именно говорил, но вообще он их мне в поучительный пример не ставил и, видимо, относился к ним холодно и не особенно одобрительно. Я же их очень тогда любил за гуманность их и за милые мне деревенские картины.

О таланте Дружинина, которого тонкий вкус в выборе сюжетов, изящные образы и прекрасный язык я тоже очень ценил и любил тогда, Тургенев отозвался, к удивлению моему, весьма строго и неодобрительно. Он сказал, что только первая его повесть «Полинька Сакс» (весьма в то время любимая публикой) – произведение *нормальное* и даже положительно хорошее; а все последующие

его повести и рассказы дышат ненормальным чувством. Я понял скоро, что Тургенев был прав, и стал осторожнее и недоверчивее относиться к сочинениям этого автора. Позднее Дружинин сам догадался, что ему надо «творчество» бросить, и он стал печатать в «Русском Вестнике» и других изданиях 60-х годов превосходные компиляции, весьма умные, беспристрастные и безукоризненно изящные; о «войне англичан в Индии в 59-м году», например, или о прусском короле Фридрихе I (отце Фридриха Великого и т. п.).

Кстати сказать, Тургенев о Дружинине и с точки зрения личных его свойств отзывался очень для него невыгодно.

– Какое-то напускное разочарование и в то же время «офицерство» самого неприятного оттенка... Он производит на меня отталкивающее впечатление! – сказал он.

Несколько лет спустя я сам, так сказать, попытался познакомиться с Дружининым и тотчас же вспомнил Тургенева и согласился с ним. Впечатление на меня Дружинин произвел тяжелое... Я не знаю, как даже выразиться... Черты лица его были правильны и, по-

жалуй, красивы... Но что-то непостижимо неестественное в движениях и тоне речей; нечто блуждающее и крайне фальшивое в выражении глаз. В разговоре, в противоположность изяществу и благородству языка его в печати, беспрестанная грубость, грязь, цинизм... Например, я спросил, читал ли он романы: «Eile et Lui» Ж. Занда и ответ Paul de Musset: «Lui et Elle» и хороши ли они? Дружинин отвечал очень грубо и цинично. Конечно – это было очень противно и, главное, как-то к этой вялой и полумертвой фигуре Дружинина ужасно не шло.

О Достоевском Тургенев упомянул только случайно. Достоевский в это время был в Сибири, ничего не печатал и был не то чтобы совсем забыт: забыт вполне он не был: все интересовавшиеся литературой помнили его первую трогательную (хотя и слишком похожую на «Шинель» Гоголя) повесть «Бедные люди»; но он был сослан, кажется, лет на восемь; считался больным и об нем стали мало думать, как мало думают о человеке, хотя и способном, но рано умершем. Тургенев упомянул о нем, я говорю, случайно и с точки

зрения *личного предостережения* мне, начинающему.

– Конечно (сказал он), надо стремиться к высшему. Плохой тот солдат, который не надеется быть генералом. Ни один начинающий писатель не может ручаться, что из него выйдет Гете, но надо стараться, надо стремиться к высшему идеалу. Хотя, с другой стороны, таким молодым людям, как вы, из личного достоинства не надо при первых успехах давать волю своему самолюбию. Вот как, например, случилось с этим *несчастливым* Достоевским. Когда он отдавал свою повесть Белинскому для издания, так увлекся до того, что сказал ему: «Знаете – *мою-то повесть надо бы как-ким-нибудь бордюриком обвести!*» Зачем же делать себя смешным...

Больше ничего о Достоевском мы не говорили. И так, надававши мне много еще и других подобных указаний и полезных литературных наставлений, Тургенев уехал в Петербург, обещая мне успех. Я уже принялся за свои обычные студенческие занятия спокойно и весело, ожидая денег и лестных критических отзывов о моей болезненной, но прочув-

ствованной «Женитьбе по любви».

В октябре я получил от Тургенева из Петербурга следующее письмо.

С.-Петербург.

(3/15 декабря 1851 г.),

понедельник

*Я имею сообщить вам неприятную новость, любезный Константин Николаевич: комедия ваша запрещена цензурой от первого слова до последнего. Я этого, признаюсь, никак не предвидел, хотя я и думал, что ее пощиплют. Я на днях получу ее обратно от Краевского и буду ждать дальнейших ваших распоряжений на ее счет. Мне очень досадно, что вы с первого же шага на литературном поприще наткнулись на препятствия, но это не должно лишать вас бодрости: порядочный человек тут-то и должен показать себя; в таких случаях позволяется не апатия, а озлобление. Я вам даже должен сказать, что, следуя правилу по мере возможности извлекать добро из худя, я с некоторой стороны не совсем огорчен этою неудачей. Ваша комедия прекрасная вещь, но в том, что вы мне показывали кроме ее, более условий*



успеха и цензуре, кажется, не так оно покажется зловредным. Пишите только, не унывая, и дайте мне знать, как вы работаете. Есть еще одна неприятная сторона в этом запрещении: вы, может быть, ожидали денег – и теперь не должны на них рассчитывать. Но и этой беде помочь есть возможность: редакторы «Современника», с которыми я состою в дружеских отношениях, готовы выслать вам вперед в половине этого месяца известную сумму как задаток за ваши будущие произведения. Напишите мне прямо и без обиняков, сколько бы вы желали, и я берусь вам это устроить. А главное, не падайте духом и идите вперед смело и весело.

Мой адрес: на углу Малой Морской и Гороховой, в доме Гиллерме, квартира № 9.

Будьте здоровы. В ожидании вашего ответа жму вам крепко руку и остаюсь преданный вам

Ив. Тургенев.

Как я отнесся к первой моей неудаче? – вот естественный здесь вопрос. Я отнесся к ней до такой степени равнодушно и вообще хорошо,

что и сам до сих пор почти удивляюсь этому. Я говорю не просто «удивляюсь», а только «почти», потому что объяснить это спокойствие есть достаточно способов и путей; удивляться же можно только тому, что, при моей тогдашней физической болезненности и крайней душевной впечатлительности, это спокойствие и равнодушие были уже слишком совершенны или слишком полны. Впрочем, не хочу сейчас на этом долго останавливаться; поговорю лучше в другом месте об этих моих *психических моментах* подробнее, если по ходу рассказа моего это потребуется. Тургенев во 2-м письме своем весьма неохвально разрешает мне «озлобление», *чуть не советует* его. А я не только теперь не одобряю подобного развращающего молодой ум совета, но, слава Богу, и тогда даже и не подумал – ни на цензуру и ни на кого-либо другого *озлобляться*... Я так смело, весело и покойно стал тогда вдруг смотреть на свою литературную будущность, что два и три запрещения не могли бы меня поколебать и расстроить...

При таких-то внутренне-благоприятных условиях начался для меня новый 52-й год.

Конец 51-го и весь 52-й год – это было в моей юношеской жизни время вообще довольно хорошее; многое разом в эти полтора года неожиданно улыбнулось, многое улучшилось, просветлело, и сам я почти внезапно стал как-то крепнуть, мужать и смелеть....

И если не всему, то очень, *очень* *многому* в этом просветлении моей жизни был главной причиной Тургенев. Он наставил и вознес меня; именно *вознес*; меня нужно было тогда вознести, хотя бы только для того, чтобы *поставить на ноги*. До того первые два года московской студенческой жизни были для меня жестоки; до того я был безжалостно истерзан и непониманием близких людей, и внешними обстоятельствами, и первыми неожиданными телесными недугами, и бурным вихрем впервые серьезно *перерождающейся мысли!* Что за горький, что за жестокий процесс этого первого умственного перелома!.. Это ужасно!

Как же мне не быть благодарным Тургеневу; как мне не вспоминать его добром совершенно независимо от того, по каким разным путям мы оба пошли лет 10–15–20 позднее, и

несмотря на глубокую до враждебности, пожалуй, разницу в наших с ним позднейших гражданских взглядах и приверженностях.

В начале 52-го года, в феврале, я получил от него из Петербурга одно за другим еще два письма; вот они:

**1**

С.-Петербург, 2 февраля 1852 г.

*Любезный Леонтьев.*

*Я перед вами весьма виноват; у меня, впрочем, два извинения: шестинедельное мое нездоровье, до сих пор продолжающееся, и желание достать для вас денег от ред. «Современника». Эта редакция оказалась, к сожалению, сильно истощенною по причине уплаты множества старых долгов, и потому позвольте мне предложить вам следующее: я готов от себя дать вам 100 р. сер. вперед взаймы, но так как у меня здесь таких денег нет, то я сегодня же напишу к себе в деревню приказ о высылке вам их по вашему адресу в Москве, заранее рассчитывая на ваше согласие. Жалею, что эта мысль мне раньше не пришла в голову; может быть, вы это время чувствовали то*

неприятное стеснение безденежья, которое мне так знакомо бывало в дни юности.

Ваша комедия погибла для печати, и скажу вам – я не слишком об этом сожалею: в вас уже теперь таланта гораздо больше, чем на сколько она показывает. Для чего же вводить читателей в обман? Кончайте повесть, о которой вы говорите мне, или хотя 2 первые главы «Булавинского завода». С присовокуплением плана целого романа можно печатать отрывками, как, напр., «Богатый жених» Писемского. Пишите и присылайте мне, как той литературной бабушке, которой суждено принимать ваших рождающихся детей. Жаль, что до сих пор они так неудачно являются на свет.

Я рад, что моя статья вам нравится. Настоящего дела я, по причине цензуры, сказать не мог, и потому она может подать повод к недоразумениям. Прощайте, любезный К.Н. Желаю вам всевозможных удач и, главное, здоровья. До свидания в мае, но мы до того времени еще будем переписываться. (За повесть – цензурную – вам «Со-

врем.» хорошо заплатит. Вот вам самое лучшее средство со мной расплатиться. Присылайте ее поскорей, а уж я ее продам выгодно.)

Жму вам дружески руку.

Ваш Ив. Тургенев.

2

С.-Петербург, 18 февраля 1852 г.

Я только что получил ваше письмо, любезный Константин Николаевич, и собирался уже вам отвечать, как вдруг получил ответ на мое предписание в деревенскую мою контору, что ранее двух недель этих 100 р. вам выслать не могут, за совершенным истощением наличных средств. Вы не можете себе представить, как это мне было досадно, и если б я сам не был в некотором безденежье здесь, я бы тотчас выслал их вам. Нечего делать – прошу меня извинить и подождать две недели. Я вам пишу все это так бесцеремонно потому, что я надеюсь, что между нами церемонии не у места.

Из присланного вами перечня содержания «Булавинского завода» я решитель-

но должен был заключить, что пока нечего и думать о возможности провести его через здешнюю цензуру. Обезображенным его печатать не следует, и что же это будет за роман, из которого все выкинуть, кроме описаний, как вы говорите? С другой стороны, так как мне очень бы желалось увидеть вас в печати, не можете ли вы кончить тот небольшой рассказ, о котором вы мне говорили? «Современник» бы с радостью его принял. Если б вы его прислали к половине хотя будущего месяца, он бы был помещен в апрельской книжке. Правда, вас теперь занимают экзамены, но все-таки вы бы хорошо сделали, если б нашли время написать хотя небольшую, но отделанную вещь.

Не пишу вам больше сегодня – очень занят. Желая вам всего хорошего, начиная с здоровья, и вторично прошу вашего извинения в невольном моем замедлении.

Остаюсь искренно преданный вам  
Ив. Тургенев.

В этих письмах упоминается о начатом мною в одно время с «Женитьбой» романе

«Булавинский завод» и еще об одной новой, еще только задуманной мною повести. О «Булавинском заводе» мне необходимо будет еще раз упомянуть, когда я буду рассказывать о том, как я ездил зимой 1853 года к Тургеневу в деревню; здесь скажу только, что цензура была бы совершенно права, если бы не пропустила «Булавинского завода» в том виде, в каком на досуге, от времени до времени, я в течение двух лет обдумывал его продолжение. Содержание его было в высшей степени безнравственно, особенно со стороны эротической. В настоящее время я нахожу, что цензурные учреждения должны быть разумно-строги; и если я за что-нибудь готов осудить петербургскую цензуру 50-х годов, то никак не за строгость ее, а за некоторую бестактность, которой она нередко грешила. «Женитьбу по любви» запрещать, например, не стоило. Положим, она могла производить довольно мрачное впечатление, но кто же тогда не считал как бы долгом писать мрачные вещи? «Тюфяк», «Записки лишнего человека», «Антон Горемыка» – и мало ли таких, отрицательных, было пропущено! Если же, напри-



мер, я написал бы «Булавинский завод» весь сполна так, как я намеревался его писать (я его скоро бросил потом), то справедливо было бы его запретить, ибо в то время уже мало-помалу подкрадывалась к уму моему та вредная мысль, что «нет ничего безусловно нравственного», а все нравственно или безнравственно только в *эстетическом* смысле... Что к кому идет»... Quod licet Jovi, non licet bovi (Что можно Юпитеру, нельзя быку (лат.))! и т. д. Позднее – я все это не только говорил, но, к сожалению, даже и печатал!.. Эта мысль, что «критерий всему должен быть не нравственный, а эстетический», что «даже сам Нерон мне дороже и ближе Акакия Акакиевича или какого-нибудь другого простого и доброго человека» (которых, впрочем, надо заметить, литература наша тогда слишком уж превозносила, даже довольно долго, пером графа Льва Толстого)... Эта мысль, говорю я, которая, начиная приблизительно с 25-го года моей жизни и почти до 40, легла в основу моего мировоззрения в эти зрелые года мои, уже и в ту раннюю пору начала под разными сильными и разнообразными влияниями

проникать в мои произведения. И полусознательно эта мысль беспрестанно просвечивала уже и в «Булавинском заводе». Я, вероятно, уже чувствовал в себе эти безнравственные наклонности и тогда, не умея еще формулировать их точно. С другой стороны, не умея также в эти года стать на точку зрения цензора, я предвидел, однако, что цензура с подобным сюжетом едва ли помирится. В этом смысле я и писал Тургеневу, даже и преувеличивая, будто «*кроме описаний природы ничего не пропустят!*». Разумеется, я цензорам в этом случае по неопытности и по разращению идей моих сочувствовать не мог; но, помню, и не огорчился особенно тем, что труд, начатый мною с таким искренним пафосом, должен быть оставлен. Я сам что-то разочаровался в нем, не с нравственной, а с чисто художественной точки зрения и очень редко к нему на минуту возвращался. Поэмы своей в стихах я тоже не стал кончать; второй раз стихи, даже и посредственные, мне уже никогда не давались.

Что касается до новой повести «Немцы», о которой упоминает Тургенев, то в 53-м или

54-м году она была напечатана в «Московских ведомостях» под заглавием «Благодарность».

Вот ее содержание.

У нас в Калуге был учитель немецкого языка Шрейбер, очень смешной, но хороший человек. Он нам, мальчишкам-гимназистам, читал длинные и серьезные лекции немецкой грамматики и до того дочитывался, что мы ничего ровно не понимали и просто иногда задыхались от сдержанного смеха. Один или два раза и не сдержались... Я помню что-то в этом роде: «немецкий *имперфект* употребляется в своем точном и особенном значении... но выражения обыкновенные, *дневные* требуют *перфекта!*..» И все это с лицом веселым и счастливым... Мы, наконец, не выдержали, и многие из нас расхохотались громко... Я хохотал до слез и долго не мог успокоиться. Бедный Шрейбер простил нам. Его потом куда-то перевели, и там на новом месте он сошел с ума. На его место приехал молодой немец из Дерпта. Этого мы уважали, и он не был нам смешон. Лицом он был смугл; черты неправильные, выразительные; глаза прекрасные, одевался он прилично; был задумчив и смел;

говорил со мной о Шиллере и Гете...

Был у меня один товарищ в гимназии (назвать его я не хочу). Лицо у него было очень нежное, тонкое, отроческое; но он всегда выпячивал грудь, которая и без того у него была хороша и высока; имел воинские ухватки, мрачно-добрый вид и все мечтал о войне. Учился дурно и был довольно глуп. Впрочем, мы с ним в гимназии друг друга любили, и я, понимая смешные формы его, сочувствовал несколько его воинственности.

Были еще в Калуге у доктора Б. две дочери. Сперва они были малы, а потом подросли, и мне очень иногда нравилась наружность старшей; бледная и восковая, она, однако, не была худа и бледность ее была здоровая.

Эти четыре лица, конечно, несколько измененные, явились главными действующими лицами моей повести: Федор Федорович Ангст; Лилиенфельд из Дерпта; Володя (или Ваня – не помню) Цветков и бледная «Доротея», дочь русского чиновника и матери немки. Я тогда немцев очень любил. Я отдыхал на их честном спокойствии. Борьба двух немцев, старого и молодого, за обладание Доротеей

была сюжетом моей повести. Ангсту – старику – помогает юноша Цветков, который ему за многое благодарен; а Лилиенфельду – другой юноша, сын богатого помещика, красавец и повеса Поль, который готовится в гвардию. Этого Поля я составил так.

Когда я думал о его красивой юношеской наружности, я вспоминал князя Мишеля Голицына, с которым я познакомился у Хитровых в их Пройдеве, он был строен, высок, смугл, и профиль у него был нежный, как перышком писанный.

А мысль о буйстве, смелости и напускной грубости этого Поля мне подал особенно Николай Хитров. Он смолоду именно был такой: – «*petit grand seigneur*[10]» с напускной грубостью.

И так между добрым и смешным Ангстом и Лилиенфельдом идет борьба за обладание Дашею. Цветкова Поль увозит за город, веселит, обещает увезти с собой ко Двору и в гвардию. А в это время Лилиенфельд похищает Дашу. Ангст сходит с ума.

Моего личного тут не было ничего, кроме некоторой любви к калужским воспоминани-

ям. Я написал повесть в 52-м году, скоро и с охотой. Она недурна и, если выбросить из нее кое-какие юмористические выходы, которыми я платил дань времени и на которые так справедливо нападал Тургенев в теории (сам греша ими нередко сильно на практике), – то я без отвращения и теперь увидал бы ее и судил бы как вещь чужую, простую и правдивую.

Тургенев поправил в ней кое-что и опять повез в Петербург.

При 6-м письме своем от 12 декабря 52-го года Тургенев выслал мне в Москву из своего Спасского 100 руб. сер. с извинением, что не может выслать мне сполна 150 руб., которые я, вследствие его же постоянных предложений, решился просить. Образ домашней жизни моей был в это время несравненно лучше прежнего. Очень многие из молодых людей моего возраста и моего состояния могли бы справедливо мне позавидовать. Я занимал один в доме богатых родных три просторных, хорошо убранных комнаты, в нижнем этаже, с большими окнами на Пречистенку, с особым даже крыльцом; так что один из моих

приятелей, по-французски не знавший, но желавший быть светским, говорил мне: «Однако, у тебя, брат Костя, теперь как у аристократа – пол – паркэ, вход – entree». Во всех подобного рода первых нуждах жизни я был тогда с избытком обеспечен в этом гостеприимном, богатом и патриархальном доме на все время моего курса в университете, и без всяких за это обязанностей, просто по родственной дружбе почтенной хозяйки дома и ее дочери, молодой вдовы, к матери моей и ко мне самому. Но у меня все-таки было очень мало того, что зовут карманными деньгами, и потому эти сто рублей тургеневских, разумеется, меня очень обрадовали. Мало ли что молодой человек с воображением считает для себя необходимым! Что настоящих «необходимостей» у меня в это время не было – видно уж из того, что я почти тотчас же по получении этих денег (казавшихся мне тогда очень большими) задумал поехать среди зимы к Тургеневу в деревню, посмотреть, как он там живет, и поговорить с ним много, очень много, не спеша и на свободе. Эта мысль восхитила меня, и я на Святках привел ее в исполнение;

сел в орловский мальпост и поехал, кажется, не предупредивши даже Тургенева, что собираюсь к нему.

В Спасское я приехал среди дня. Оно было недалеко от почтовой станции Чернь.

Не знаю – был ли доволен Тургенев моим непрошеным посещением, но принял он меня очень любезно. Жил он тогда в довольно просторном флигеле, а в большом доме жил управляющий его имением Тютчев с семьей своей. Тургенев ходил к ним обедать и пить вечерний чай. Меня он поместил у себя во флигеле. Не помню, наверное, сколько дней я у него пробыл, три-четыре или даже пять; помню только, что мне сначала было очень приятно[11]...



### III

Роман свой «Булавинский завод» я очень скоро тоже перерос и не мог его продолжать, хотя и несколько раз принимался за него впоследствии, воображая от времени до времени, что он хорош. Понятно, что Тургенев *при* виде двадцатилетнего юноши хвалил его *задатки*, но сам я очень был рад после, что «Булавинский завод» не напечатался.

Я думаю, что в развитии каждого художника бывают попеременные искажения и возрождения. После 52-го года именно, я думаю, на меня нашел период искажения. Меня ничто не удовлетворяло в моем творчестве. Раз излив свои страдания и свои мечты об успокоении, я уже не знал, что бы мне выдумать *поглубже*, *позамысловатее*. Вероятно, и влияние реальной науки было здесь очень сильно. Я искал – то каких-то необычайно тонких и глубоких открытий в искусстве, какой-то микроскопической и философской бездонности; то гнался за слишком уже яркой образностью и картинностью. Вкус теоретический у меня развивался; я много читал хорошего то-

гда в свободные минуты; но творчество положительно дремало.

Были на это, конечно, и личные причины в самой жизни. Положение мое было лучше; я жил почти один и очень хорошо; но я был влюблен и был любим; любовь эта, очень продолжительная и серьезная, поглощала у меня много времени и сверх того я стал больше заниматься медициной.

Тургенев, который видался со мной раза два в год до самой Крымской войны, часто повторял мне, чтобы я не *спешил печатать*, что он за счастье счел бы уничтожить некоторые прежние свои повести и стихи. Что прежде тридцати лет редкий писатель произвел истинно хорошие вещи. Он говорил еще, что надо метить как можно выше, что хотя никто из нас не может знать – выйдет ли из него Гете или Шекспир, но надо стараться, надо претендовать и потому надо быть и строгим к себе, и смелым.

Я понимал его мысль и охотно слушался, не спешил, я рассчитывал на то, что, кончивши курс, я буду доктором, не буду зависеть в выборе сюжетов и идей от редакторов, и на-

ходил, что лучше написать меньше, но свободно, чем по команде редакций. Я с радостью готов был трудиться над медициной по утрам, чтобы иметь возможность потом запереться и писать, что хочу. Любовь моя также заставляла меня больше трудиться на лекциях. Приданое у этой девушки было не велико, и я думал много о необходимости кончить хорошо курс, чтобы жениться. Таким образом, я в эти три года, от конца 51-го до 54-го, до войны, писал мало и напечатал одну только небольшую повесть, о которой я после поговорю.

Не знаю, что было причиной и что последствием, но препятствий творчеству было много разом; я их перечту. Моя страсть (страсть может вдохновить на великие лирические произведения, особенно стихи, но она отвлекает от вещей обдуманых; а я стихов не писал); занятия наукой; влияние научных приемов, охлаждающих порывы искусства; советы Тургенева не спешить; писать, но не печатать. И наконец, сознание слишком уж больших цензурных препятствий.

Однажды я сказал Тургеневу, что люблю и

хочу жениться, когда кончу курс. Он испугался за меня и сказал:

– Нехорошо художнику жениться. Если служить Музе, как говорили в старину, так служить ей одной; остальное надо все приносить в жертву. Еще несчастный брак может способствовать развитию таланта, а счастливый никуда не годится. Конечно, страсть к женщине вещь прекрасная, но я вообще не понимал никогда страсти к девушке; я люблю больше женщину замужнюю, опытную, свободную, которая может легче располагать собою и своими страстями. Жаль, что вы погружены в чувство к одной особе. При вашей внешности, при ваших способностях, если бы вы были больше лихим, – вы бы с ума сводили многих женщин. Надо подходить ко всякой с мыслью, что нет недоступной, что и эта может стать нашей любовницей. Такая жизнь, более буйная, была бы вашему таланту гораздо полезнее... Но что делать?

Я слушал всегда Тургенева с благоговением, но все-таки *je faisais mes reserves*[12] и любовь моя была очень сильна и искренна.

Я спрашиваю себя теперь – не был ли я сам

виноват, что в течение 3-х лет ничего тогда не печатал, кроме одной повести, или нет – и отвечаю, что я *был прав!*

Времени почти вовсе не было.

Я и тогда часто *объективировал* сам себя, *отступал* сам от себя и спрашивал, что мне больше нравится. «Нуждающийся, худой, подурневший, болезненный сотрудник журнала, который пишет много, но к сроку и отчасти по заказу, или молодой врач, свежий, здоровый, полезный, добрый к бедным, светский человек в богатом жилище, при этом эстетик, поэт, мыслитель. Он не бегаёт сломя голову с утра до вечера по городу, чтобы приобрести много; нет, он хочет только, отдавая часть своей свободы полезному практическому делу, сохранить себе главное – свободу творчества и мысли. Сверх того у него жена умная, с очень тонкой талией, прекрасно воспитана, умна, хитра даже, говорит по-английски, танцует, как птичка или как воздух... Она обожает молодого и гениального мужа, но она любезна... она даже кокетка с другими... И умный муж улыбается этому... «Знай наших!»

Теперь я говорю, что я *был прав* в своем

выборе, в том, что предпочитал врача, который мог написать один очень хороший роман в два-три года, – худому и скверному сотруднику.

Но Тургенев был правее меня, когда боялся счастливого брака.

Впрочем, инстинктивно и я это понял в 54-м году. Когда пришлось выбирать между свободой и семейным счастьем, я выбрал первую, и что бы ни случилось со мною после, я до сих пор не каюсь...

Была у меня тогда начата и другая повесть, «Лето на хуторе», гораздо затейливее, ярче и хуже. Тургенев прочел три главы из нее и хвалил не без строгих замечаний. Он сказал тогда в семье Тютчевых, и Тютчевы мне это передали: «Надо «Немцы» Леонтьева отдать Краевскому, а «Лето на хуторе» в «Современник»; вот у молодого человека и вырастут крылья».

Около того же времени, в 52-м или 53-м году, я написал отрывок «Зимнее утро в помещичьей опустелой усадьбе»; он со временем стал 1-й главой моего большого романа «Подлипки», который я напечатал в 61-м году, по-

чти десять лет спустя.

Я помню, встал я раз зимою довольно рано; комнаты у меня были тихие, отдаленные и хорошие. Мне стало очень грустно и очень хорошо. Я вспомнил о своем родном Кудинове, в котором я давно уже не был; кажется, вообразил себе, что я там один-одинешенек... И мне захотелось туда – смотреть «на бледную вечернюю зарю, умирающую за зимним поредевшим садом»... Я затворил внутренние ставни на окнах, чтобы легче забыть и город, и все на свете, велел слуге сварить поскорее побольше шоколаду и купить несколько хороших сигар...

Сел и написал этот отрывок. На другой же день я, кажется, свез его к графине Сальяс, с которой давно уже познакомил меня Тургенев. Там были Щербина, и Кудрявцев, и, конечно, Феоктистов.

Я прочел.

– *Quel magnifique tableau de genre*[13]! – воскликнула графиня, – лучшие бы из русских поэтов не постыдились бы подписать под этим имя свое.

Кудрявцев и Щербина тоже хвалили. Феок-

тистов всегда удивлялся ранней зрелости моих описаний.

Что касается до меня собственно, то я, вспоминая об этой зимней картине, вспоминаю также и слова Каткова, сказанные им мне гораздо позднее:

– Что ж такое теплота? Теплота в душе и останется, а на бумаге не выйдет!

Мне теперь это описание не нравится. Если находишь, что описания Тургенева верх совершенства, то и мое ничуть не хуже. Но в том и дело, что *оба хуже*.

Описания хороши или очень величавые, неопределенные, как бы носящиеся духоподобно (таковы описания в Чайльд-Гарольде), или кроткие, мимоходом, наивные.

Мое зимнее утро и все почти описания Тургенева грубореальны? хотя и были согреты очень искренним чувством. Другое дело также простые, мужественные описания старика Аксакова в «Хронике»!

Тут нет тех фальшивых звуков, взвизгиваний реализма, которыми богат Тургенев и которыми платил дань и я... увы... под влиянием его и других...



Например: «собака, испуганная незнакомыми посетителями, вся взъерошилась от ужаса и гнева и преследует быстро убегающие сани»... Фу! как скверно! Это я писал. Это зовется «реализм»!

Итак, все продолжали меня хвалить и ободрять.

Краевский писал мне из Петербурга чуть не почтительное письмо и говорил: «Пишите больше! Вы не имеете права зарывать ваш талант в землю».

Катков, который тогда не был еще в славе и издавал «Ведомости» на казенный лад, тоже очень хорошо принимал меня, когда я приходил к нему за советами, и я помню раз, провожая меня на лестницу, подавал мне сам шинель.

Имел ли я, неопытный юноша, право тогда или не имел, после всего этого, поверить серьезно в мое призвание?

## IV

В то время, когда Тургенев, проезжая из своего орловского имения через Москву, возил мои рукописи в Петербург, николаевская цензура дошла до бессмысленной придирчивости. Период этот продолжался от 48-го года, до Крымской войны. Герцен писал много об этом времени. В частной жизни или в официальной оно вовсе не было мрачнее других; оно было тяжело лишь для высшей умственной деятельности. В это время ограничили число студентов на всех факультетах, кроме медицинского (оттого и я принужден был учиться медицине, ибо хотел во что бы то ни стало кончить курс в университете); в это время студентов стригли коротко; сажали в карцер, если на них не было треугольной шляпы; назначили попечителем доброго и простодушного солдата Назимова; Назимову сам Государь делал строгое замечание за погребальную слишком пышную овацию Гоголю; он ссылал Тургенева на два года в деревню за статью о Гоголе и об этой овации; сменял цензора Львова, который ее пропустил. У

Каткова отнимали кафедру философии и давали ее нашему законоучителю священнику Терновскому. «Московские ведомости», издаваемые тогда Катковым же при университете, но вовсе на другом положении, были очень скромны и бледны.

Однако, при всех этих затруднениях, никто, ни Тургенев, ни Краевский, ни я сам не могли ожидать, что петербургская цензура не пропустит такой невинной вещи, как моя повесть «Немцы».

Однако она нашла ее вредной. Тургенев скоро известил меня об этой вторичной неудаче и всячески старался ободрить и утешить меня, напоминая мне мою молодость и надежды на будущее.

Если не ошибаюсь, осенью 53-го года, незадолго до разрыва с Турцией и до Синопской битвы, приехал в Москву Краевский и пригласил меня к себе. Он занимал прекрасный номер в гостинице Мореля. Я застал у него Грановского, которого я знал уже и в доме графини Сальяс и по университету. Грановский был в духе и рассказывал разные анекдоты. Краевский показал мне корректурные

листы моей повести, помаранные двумя цензорами – Фрейгангом и Крыловым. У одного чернила были красные, у другого – синие.

В чем же было дело?

Во 1-х, что такое «Немцы»? Отчего? Повесть нельзя пропустить, ибо смысл ее тот, что немцы честнее, лучше русских. Какие тут русские? Отец Даши – старик Васильев – добр и не глуп; любит дочь, способен к дружбе, но взяточник, и сам сознается в том. Юноша Цветков – дурак и с претензиями. Юноша Поль, будущий гвардеец – негодяй, повеса, обманщик, сорвиголова, развратен. Отец Поля – сладострастный, ленивый, бесхарактерный барин. «Свинья» – по выражению одного из цензоров.

У Поля в деревне пьянствуют и вообще кушают – один студент и один юнкер. Ни русский студент, ни юнкер не должны себя вести так дурно. Какой пример!

А оба немца – честны, серьезны, любящи, трезвы, и сами русские их беспрестанно хвалят. Видимо, и автор уважает их больше.

В последнем была доля правды.

Так как я сам был тогда все в беспокойстве,

в Sturm und Drang (Буря и натиск (нем.)), то все, что располагало к спокойствию, к здоровью, тишине и постоянству – мне нравилось. Деревня, одиночество, мирный брак или простая «гигиеническая», невзыскательная любовница, должность сельского врача, молоко, осенняя тихая погода. В этом же смысле мне нравились и многие германские характеры – тихие, твердые и спокойные в своей здоровой честности. Другие времена! Другие мысли!

Итак, предпочтение немцев русских! были главной причиной цензорского «veto». Мне жаль, что я не спросил тогда у Краевского, который цензор обратил на это внимание: Крылов или Фрейганг. Но я уверен, что это был Фрейганг; вероятно, ему хотелось блеснуть фанатическим русизмом. Он же, кажется, и цензорствовал прежде. Краевский попытался отправить повесть к Крылову, но тот тоже нашел, что она безнравственна. Помарки их иногда совпадали, а иногда были несоответственны. Так, например, один из них обращал больше внимания на подробности.

В одном месте я кратко описывал домик Ангста и говорил, что он стоял на краю живо-

писного оврага, за которым видна была другая часть города... Видны были сады, пестрые дома и «колокольни, то *древняя* – живописно-дряхлая, вся покрытая мелкими окошечками, то новая – с блестящим золотым шаром наверху и крестом, сияющим до того, что на него в полдень больно смотреть».

Цензор: «Это нельзя. Это неуважительно к святым. *Дряхлая колокольня*... И потом, на крест и шар этот *больно смотреть*... Всегда должно быть приятно смотреть...»

В другом месте: Ваня Цветков, поужинавши в деревне у Поля, который обещает ему роскошную жизнь вместе в Петербурге, засыпает, и ему «все мерещатся женские формы и поцелуи разных прекрасных графинь, родственниц Поля».

Это безнравственно.

Я готов согласиться, что это черта того грубоватого, юмористического реализма, который я давно уже и сам возненавидел; но стоит ли это вычеркивать с моральной точки зрения?

Я рассказал все это подробно, чтобы показать, при каких тяжелых условиях со стороны

правительства и при каких благоприятных со стороны общества обстоятельствах я начинал писать. Лет через 8–10 мне пришлось пережить эпоху несравненно худшую для писателя: удобную со стороны власти, отвратительную со стороны вкуса и ума в публике и редакциях. По мере расширения свободы – вкус и ум у нас положительно понизились. Это ведь не я один говорю; это знают многие.

Не скажу, чтобы и эта вторая неудача меня бы особенно сокрушила. Во 1-х, повесть была написана мною мимоходом, почти играючи; я в нее не положил ничего драгоценного и ценил в ней только ее *объективную* полугрусть, полувеселость. Я был рад, что испытал себя успешно в новом роде, вовсе не похожем на мои первые прочувствованные, страдальческие и аналитические произведения. Это я понимал и тогда; хотя, вспоминая тогдашние мои критические вкусы, я уверен, что относился к этой вещи небрежнее, чем к другим, худшим, слишком ярким, изысканным и фигурным моим начинаниям и отрывкам. Во 2-х, я видел, какие стеснения терпели тогда Грановский, Тургенев, Катков – люди все

10–12–15-тью и больше лет старше меня; я думал часто, что для них, бедных, все почти кончено; а я?., я?.. Мне чего еще не предстоит.

Тургенев именно в это время и сам воображал, что он более уже ничего не будет писать, что круг его творчества свершился. Он писал мне в Москву из своей орловской деревни так: «Моя деятельность уже, кажется, кончилась; но я буду считать себя счастливым, если мне удастся быть повивальной бабушкой ваших произведений».

Катков, к которому я тогда заходил нередко, ничего такого не говорил о себе. Но обстановка его говорила громче слов. Он только что женился на княжне Шаликовой. Она была худа, плечи высоки, нос велик, небогата. Квартира у них была труженическая; халат у Каткова очень обыкновенный; иногда он болел. «Ведомости» были бесцветны; кафедру у него отняли. Собой он только тогда был, по моему, очень хорош и *distingue*. Жалко было видеть его в таких условиях.

Побывавши у него, я возвращался в свои отдаленные, просторные и приличные *три комнаты*, смотрелся в зеркало и видел... и



В нем и во всем другом... много, очень много надежд...

Семьи, слава Богу, около меня давно уже не было. – З... меня ждала наверху, в хороших комнатах, сидя на шелку и сама в шелках... Душистая, хитрая, добрая, страстная, самолюбивая...

Tu demandes, si je t'aime, говорила она; ah! je t'adore... mais non! J'aurais voulu inventer un mot...[14]

Это не то что Mad. Каткова... Бедный, почтенный, но все-таки бедный Катков!..

Тургенев, по крайней мере, холост, барин, очень красив, *bel homme*[15], у него 2000 душ... Это другое дело!

В эту же зиму (53-го года, если не ошибаюсь) Наследник и Орлов выхлопотали прощение Тургеневу, и ему позволено было возвратиться в столицу. Он рассказывал, что Madame Смирнова («черноокая Россети») и Блюдов вредили ему. За что – я помню, но здесь долго рассказывать.

Тургенев приехал в Москву... Я узнал, что он сидит у Mad. Сальяс, и поехал прямо туда. Там, кроме его и, конечно, Феоктистова, был

этот набитый дурак – Валентин Корш. Корш все время молчал и смотрел на Тургенева из угла со священным ужасом.

Тургенев был в темно-зеленом бархатном сюртуке. Очень весел и насмешлив... Рассказывал про Орел, декламировал стихи Фета, которого он очень любил, острил, даже представлял кое-кого в лицах.

В рассказах его про Орел я помню многое, что отозвалось года через два в повестях его «*Два приятеля*» и «*Затишье*».

Мне ужасно он нравился; все в нем и у него было крупно. Я никогда не завидовал ему, а всегда любовался им... Пришлось, однако, и его пожалеть на минуту.

Полулежа на диване у Madame Сальяс и в какой-то львиной позе потрясая своими кудрями, – он сказал вот что: «Главное дело для писателя – это уметь вовремя слезть с седла. Садиться на коня ему трудно, страшно, он не умеет. Потом он овладеет и конем, и собой. Ему легко. Но потом приходит время более трудное, чем приступ; как понять, что пора сойти со сцены с достоинством?»

Я не говорю, – продолжал он, – о таких ни-

чтожных фотографах, как мой приятель Панаев, а лишь о тех людях, у которых есть хоть немного художественности, например, о Писемском, Гончарове, о себе. Этот бедный Аполлон Григорьев все ищет *нового слова*. Он мне ужасно нравится за то, что он меня терпеть не может и бранит мои вещи за многое очень основательно. Ни от меня, ни от Писемского, ни от Гончарова он *нового слова* не дождется. Его могут сказать только двое молодых людей, от которых можно многого ожидать... Лев Толстой и вот этот...»

И не меня своей барской позы, он указал на меня просто пальцем.

Я даже не покраснел и принял это лишь как *должное*. Я так мало сомневался уже в этом, что когда тот же Тургенев к чему-то похвалил еще раз мое лицо и сказал про какого-то Голицына... «И Леонтьев чрезвычайно *joli garçon*[16] а Голицын еще лучше...» – меня это гораздо больше обрадовало; пусть Голицын будет *еще лучше*. – А и я все-таки *joli garçon*. Уж кого выберет женщина – это дело вкуса.

Я помню также, что удачное излечение

трудных больных, успех у женщины какой-нибудь сносный, убеждение, приобретенное на опыте в Крыму, что я довольно смел перед смертью, Анна 3-й степени и 2-й степени в Адрианополе и Янине и какие-нибудь ловкие консульские дела – гораздо больше меня радовали, чем признание моего таланта в *разговорах, на словах* (я не говорю о статьях, которых никогда обо мне никто не писал, кроме Щедрина. Библиография «Современник» 62–63 гг. о романе «В своем краю»).

Тургенев продолжал утверждать, что ни он, ни Писемский, ни другие, им подобные, уже ничего больше хорошего не скажут.

Однако он ошибся в своем критическом пессимизме, именно после этого Писемский написал лучшую свою вещь «Тысяча душ»; Гончаров издал два *chef d'oeuvre*'а[17]: «Палладу» и «Обломова», и сам Тургенев написал лучшие свои романы: «Рудина», «Дворянское гнездо», «Первую любовь», «Отцы и дети».

Каткова я, возвратившись из Крыма в 57-м году, нашел в хорошей квартире, в хорошем халате, все еще красивым и в славе. А еще через десять лет, в 67-м году, имя его повторя-

лось в самых отдаленных городах Турции, и английский консул Блонт с бешенством восклицал: «Россия – это Япония; в ней два императора: Александр II и мосье Катков». Лев Толстой напечатал «Войну и мир». Явились новые таланты: Алексей Толстой, Кохановская, Марченко (Марко Вовчок)...

А я? Положение мое теперешнее известно моим приятелям, и я об нем подожду говорить. Только из всего вместе можно будет заключить «кто виноват». Я ли, публика, редакторы, критика или, вернее всего, особая звезда – странное стечение обстоятельств, таинственный *fatum* и перст Господнего Промысла!

Возвращаюсь к «Немцам».

Madame Сальяс жалела мою повесть; она взяла у меня рукопись и дала ее Каткову.

Катков прочел ее и сказал ей так:

– Большая зрелость таланта; странно даже, что у такого молодого человека это так не лично и даже равнодушно и несколько холодно. Я надеюсь ее напечатать...

Московский цензор пропустил повесть и переименовал только заглавие: «Благодарность»,

вместо «Немцы»... Напечатана она была – не помню: в декабре 53-го или в начале 54-го года. В «Отечественных Записках» Краевский (т. е. Дудышкин) посвятил ей небольшую, но очень похвальную статью в «Библиографии» и жаловался, зачем автор *этого милого произведения* скрыл свое имя.

Я испытал в то же время и два других удовольствия: я в первый раз получил деньги за мое сочинение и при этих деньгах очень лестное приравнение к Грановскому. Феоктистов заехал ко мне на Пречистенку по просьбе Каткова и высыпал (кажется) около 75 рублей на стол, говоря: «Михаил Никифорович извиняется, что мало. Газета очень бедна и больше 3 рублей за столбец не может давать. Это цена Грановского».

*Деньги*, впрочем, тогда мне все давали и без печати. Тургенев, все уговаривая меня не торопиться печатью, предложил мне около 175 рублей. Краевскому я написал только два слова, и он выслал мне 50 рублей. Потом мне для одной простенькой любовницы занадобилось еще, – я поехал на три дня в Петербург, и он, ни слова не говоря, дал еще 150 рублей.

В 56-м году я заплатил ему за это повестью «Лето на хуторе», очень яркой описаниями и которую я терпеть не могу, ибо в ней все фальшиво сначала до конца, кроме некоторых сторон характера девушки Маши, списанной с одной горничной, с которой я был близок и которую одно время очень любил.

Маленькая повесть в газете и небольшая похвальная статья в журнале имени никому не дадут. Чтобы очень мелкими вещами составить себе имя, надо или очень часто, не прерывая, их публиковать, или издать разом вместе.

Очень малая по размеру вещь может быть верхом искусства (таковы, например, «Frederic» и «Bernerette» Alf. de Musset; «La mare au diable» G. Sand'a; это вещи зрелые и гениальные, но они *одни* не упрочили бы за авторами имени).

Моя же повесть, очень хорошая для начинающего, недурная и вообще, не имела в себе никакой особой гениальности, и все-таки была незрела, испорчена тем дурным русским комизмом, от которого, и поседевши, сам Тургенев не мог спастись; до того неуместная го-

голевщина въелась нам в кости.

Маленькие повести М. Вовчка, как мало-российские, так и великорусские («Червонный король», «Институтка», «Саша», «Игрушечка» и т. д.), неизмеримо выше и «Немцев» моих, и «Записок охотника», например. У М. Вовчка тогда не было и следа нашей мужской грубости, того юмора de mauvais aloi[18], которому мы до сих пор почти все подчиняемся. Однако ни одна из этих повестей, напечатанная *раз* (и потом – молчание), не могла бы дать М. Вовчку имя и положение. Теперь же, когда повестей было много, я нахожу, что ее недостаточно озолотили, и первые ее вещи следует признать несравненно более классическими, чем, например, Тургенева. Не говорю уже о шершавых и топорно, аляповато-ярких, пучеглазых «Записках охотника».

Итак, судьба «Немцев» эстетически была вполне заслужена, и я мог жаловаться лишь на цензуру, а не на вкус.

В 55-м году я напечатал «Лето на хуторе». Я послал эту повесть из Крыма; но половина ее была написана в 53-м году, и вся она принадлежит студенческому моему периоду. Она бы-



ла обдуманна гораздо прежде; но кончить я успел ее лишь в Крыму. Ее никто не хвалил, и поделом. Я согласен был бы, чтобы ее разругали даже как нельзя хуже, но лишь с тем, чтобы всех Помяловских и Успенских сослали в какую-нибудь Сибирь, а М. Вовчку поставили бы хоть маленький монумент за высокую, изящно-классическую *бледность* и за нежную гармонию ее повестей.

Тогда бы я все это нашел справедливым. Летом 54-го года я уехал в Крым военным врачом. С Тургеневым мы простились хорошо; но он очень тогда был печален и нездоров.

Катков давал мне разные хорошие советы. Он говорил мне с улыбкой:

– Я очень рад, что вы едете в Крым; хоть вы и не будете в строю, но все-таки, может быть, окуритесь порохом. Во всяком случае, смолodu поживете широкой, действительной жизнью...

Тургенев тоже еще раньше говорил мне:  
– Смелей бросайтесь в жизнь! Смелей! Женщины! лошадь, товарищи... Вы ведете жизнь одинокую и всё заняты вашим внутренним миром; оставьте разбор себя... «Greiff

hinaus ins vollen Menschenleben (Выхватывайте из полноты человеческой жизни (нем.))!» – Странно только, что вам выпала судьба быть доктором... При каких только условиях не развивается человек!..

Я был очень рад, что мнение и советы этих людей совпадали тогда с моими собственными вкусами. Я хотел и без того ехать в Крым, вопреки матери и всем родным. Долгую кабинетную жизнь я не уважал; университетский же мой быт мне стал очень тяжел тогда по многим причинам, о которых говорить здесь не место...

После этого последнего свидания нашего в Москве (весной 54-го года), на Пречистенке, мы с Тургеневым не встречались в течение целых семи лет; от весны 54-го года в Москве до весны 61-го года в Петербурге.

Эти семь лет, конечно, для обоих нас не прошли бесследно. Тургенев был, если не ошибаюсь, лет на десять старше меня (если не больше) и потому, может быть, внутренние перевороты и перерождения его не были уже так решительны и круты за это время, как мои – более юношеские. Я не хочу этим

сказать, что глубокие перевероты душевные и умственные менее возможны в более поздние года. Напротив того, я сам на первых же страницах этих воспоминаний сознался, что всю свою жизнь готов разделить на две неравные ни по продолжительности, ни по их значению *для меня* половины; я сказал, что меньшую, кратковременную половину (всего 15 *последних* лет) считаю более осмысленною, более наполненною, *весьма*, конечно, несовершенною и по-христиански даже недостойною в подробностях поведения, но хоть в смысле общего (религиозного) мировоззрения правильною; а к первой более долгой половине жизни моей (от безответственного детства до сорока с небольшим лет) отношусь отчасти с глубоким равнодушием, отчасти с презрением, а во многих отношениях даже с ужасом, удивлением и пламенной ненавистью. Разумеется, чтобы сложилась у человека такая разница взглядов на свое прошлое, нужны были сильные умственные переломы и потрясающие (приятно или жестокопотрашающие) нравственные превращения. Случалось это с иными людьми и позднее со-

рока; случаются резкие перемены во все года! Но я хочу только напомнить, что перерождения духа человеческого от 20 до 30 лет совершаются быстрее и более бурно, чем в года зрелости. Тургеневу было уже за тридцать лет, когда мы с ним надолго расстались в 54-м году, а мне только за 20. К тому же, надо заметить, что на степень и глубину изменения во взглядах, привычках и чувствах наших огромное и неотразимое влияние имеет степень резкости внешних перемен в нашем образе жизни за известный срок времени. Чем перемены крупнее, чем антитезы наших внешних положений резче за это время и еще, чем больше число душевных струн затрагивают в человеке эти изменяющиеся внешние условия, тем, разумеется, человек больше за это время прожил, тем опыт его разностороннее, тем дальше он отходит и *сам от прежнего себя*, и от тех близких, которые за это время жили несколько неподвижнее его и по внешним условиям, и по внутренним движениям ума, воли и сердца.

Так случилось и с нами – со мной и с Тургеневым. С 54-го года до 61-го в эти семь лет я

совсем переродился. Иногда, вспоминая в то время (в 60–61-м году, например) свое болезненное, тоскующее, почти мизантропическое студенчество, я не узнавал себя. Я стал за это время здоров, свеж, бодр; я стал веселее, спокойнее, тверже, на все смелее, даже целый ряд полнейших литературных неудач за эти семь лет ничуть не поколебали моей самоуверенности, моей почти мистической веры в какую-то особую и замечательную звезду мою.

Впрочем, чтобы не отвлечься от главной нити моего рассказа и не спутаться, – об этой молодой вере в себя поговорю, где будет кстати после, а теперь оставляю это в стороне.

Я говорил о переменах моего образа жизни за эти семь лет разлуки с И.С. Тургеневым. Перемены эти были очень разнообразны и резки. Во-первых – университет и война, Москва и Крым; подчинение (матери, богатым родным, у которых я жил в Москве, положим, отчасти и университетскому начальству) – и вдруг не только полная независимость вне службы, но и власть над людьми; хотя бы и над больными. И какая еще власть! Одна из самых могучих, одна из самых жестокоответ-

ственных перед собственной совестью и из самых безответственных и перед внешним законом, и перед мнением людским. В Крыму мне сразу досталось в военной больнице около полутора ста страдальцев; а потом бывало и до 250 коек в моем *почти* бесконтрольном распоряжении. Это одно – разве мало для впечатлительного и думающего юноши?

**В** 54-м году осенью я уехал в Крым на войну; в 61-м году, тоже осенью, напечатал в «Отечественных записках» мой первый большой роман «Подлипки».

В течение этих семи лет я написал четыре небольших вещи: 1) *Лето на хуторе*, о котором уже говорил и повторять не буду, потому что оно не только внимания не стоит, но и заслуживало бы совершенного уничтожения; 2) *Очерк* из военного времени «Сутки в ауле Биюк Дорте»; 3) Комедию в 4-х действиях «Трудные дни» и 4) «Второй брак», довольно большую повесть (в «Библиотеке для чтения»)...

Это, конечно, очень мало для семи лет. Но на это было много причин.

Прежде всего, необходимость гораздо серьезнее прежнего заниматься медициной в военных больницах. Не потому, что контроль над нами был строг, или главные доктора были особенно искусны и страшны. Нисколько; а потому, что сама совесть стала строже при встрече с действительной ответственностью. Я не верю особенно в медицину, но нельзя же

не согласиться, что *опиум* действует несколько иначе, чем *каломель* или рвотное, что кровопускание ослабляет воспаление, а хинин прекращает лихорадку. Хотя и это все условно и сомнительно, но надо, по крайней мере, не убивать больных; ибо (так рассуждал я тогда) убить человека на дуэли и войне – есть сила, а убить в постели – незнание, неловкость, т. е. слабость. Не только не «гуманно», но еще хуже того – для себя не лестно.

Вышел я не с 5-го, а с 4-го курса, вместе со многими другими товарищами, когда правительство весною 54-го года, видя недостаток в докторях, предложило нам получить равные права с медиками, окончившими полный курс, и двойное жалованье на первый год службы. Теоретическое образование на 4-м курсе было почти кончено, была уже и привычка обращаться с больными в приготовительной клинике Иноземцова и Овера; оставался год занятий преимущественно практических в Екатерининской больнице и акушерской клинике. Последняя, положим, была не нужна, так как солдаты не рожают; но опыт большой больницы под ежедневным руко-



водством таких профессоров, каковы были Польш, Варвинский, Полунин и др., значит очень много. Не с той смелостью, не с той быстротой соображения, с иным запасом живых фактов и впечатлений выходит студент с 5-го курса. Мы расчувствовали сами, что нам многого недостает.

Один из старших братьев моих, с которым я был довольно дружен, перед отъездом моим в Крым писал мне, отговаривая меня ехать на войну. Он сам служил долго на Кавказе военным. В числе разных неудобств он упоминал также о моей медицинской неопытности.

«Как ты с твоим человеколюбием, с твоей гуманностью, – писал он, – будешь неприготовленный лечить людей, несчастных раненых, делать ампутации и другие важные операции...» и т. д. Я отвечал ему, что «я ехать решил; что ампутации делать вовсе не так трудно, что эта операция правильная, с определенными линиями... и одним словом, – что будет – будет!..» И про себя я думал (это я хорошо помню): «Имей успех; сумей быть независимым, и тебе все простится! Что делать, если несколько человек сначала пострадают от мо-

его незнания: это их судьба! – другой товарищ еще будет хуже меня на моем месте, знания равны, но он глуп, а я нет. Я постараюсь. Если я подчинюсь советам близких – тоска моя не излечится... Я должен ехать...»

Ехать я решил; я бы пешком тогда пошел в Крым, чтобы только не упустить из моей жизни такой редкий случай, как большая война, чтобы *броситься в жизнь* (по совету Тургенева), чтобы переменить на что-нибудь более мужественное и драматическое ту мирную и будничную среду, которая меня окружала в Москве... Я бы презирал себя до сих пор, если бы не поехал тогда в Крым; а что касается до нескольких больных, которых я мог убить, а может быть, и убил вначале по незнанию или по ошибке, то, во 1-х, это случается с лучшими врачами, а во-вторых, состояние души моей в Москве от сердечных чувств и других причин было до того тяжело, что я был похож на человека, который в минуту какой-либо паники и опасности сталкивает в огонь и бездну других, чтобы спасти себя. Если он не столкнет, его столкнут другие!

Когда за мою хитрую, но любящую З. по-

сватался О-в, который был предводителем и гораздо старше меня, она хотела отказать ему и сказала мне:

– Я буду ждать тебя; кончай свой курс и скажи мне только – будешь ли ты меня через год столько же любить, сколько теперь. Я откажу ему.

Я стоял перед нею. Ей было 25 лет; мне 23; я подумал о бедности, о детях, о спешном труде, о том, что она подурнеет скоро; о *музе Тургеневской*... И сказал ей: «Теперь люблю; но теперь нам жить нечем, а что будет через год – кто знает... Выходи за него».

Она поцеловала мою руку, ушла и тотчас же обручилась... Жених ждал уже ее в комнате ее тетки, не подозревая, что только в эту минуту решила его судьба.

Я старался быть твердым, сколько мог; я решил принести любовь в жертву свободе и искусству; и сделал, конечно, хорошо, но стоило это мне таких страданий, что я... совещусь и сознаться немного в этом, плакал и рыдал два часа подряд после этого, вовсе уже как ребенок или женщина.

Прибавим к тому еще, что родные и знако-

мые, видевшие нашу близость с ней в течение четырех лет, думали, что она меня *провела*, «*qu'elle s'est joué de ce pauvre gargon*»[19] и очень обидно жалели меня, смотрели все на меня с осторожными улыбками и вообще целую неделю обращались со мной, как с чем-то нежным и хрупким. Иные из женщин в глаза осуждали ее, говоря: «*Voilà nous autres femmes! Nous prétendons être meilleurs, que vous autres*» (Вот они, наши женщины! Мы делаем вид, чтобы быть лучше, чем она). Однако я помню, ты всегда в спорах говорил, что боишься бедного брака, детей, и говорил, что подвязанная щека у жены или ревматизм у мужа ужаснее всего на свете; а она возражала и старалась идеализировать; а теперь вышла за человека нелюбимого по расчету.

Я прошу кого угодно стать на место самолюбивого влюбленного, очень изощренного в мысли и неопытного на деле двадцатитрехлетнего юноши и спросить себя, каково ему было?

И какими болями всех родов отзывалась эта жертва всеожжжения долголетней страсти на алтаре Свободы и Искусства?

И я еще сотой доли подробностей не рассказываю! Сожаление это о благородном и обманутом кокеткой мальчике, признаюсь, убивало мою гордость. А какое-то чувство чести и другой высшей гордости заставляло меня молчать и скрывать лестную истину, несмотря на все мое самолюбие и природную откровенность. Еще дня через четыре после обручения она дала мне свидание в одном саду. Сестры ее были с нею и уехали на пруд в лодке, нарочно, чтобы оставить нас одних. Мы долго прощались в беседке, и она обещала мне вот что:

– Я постараюсь быть ему хорошей женой. Чем он, бедный, виноват! Но если мне станет очень трудно, я напишу тебе, а ты ответь правду – любишь по-прежнему или нет, – и я приеду к тебе так жить.

Жених инстинктом влюбленного вернее всех понимал истину; он бледнел, когда *обманутый мальчик* входил в комнату, и не скрывал от нее тревог своей ревности.

Итак, я не был ни жертвой, ни обольстителем и обманщиком; я был страдальцем, который с окровавленной раной сердца приносил

в жертву и молодую страсть, и надежды на тихое семейное счастье, возможное с такой умной и доброй женщиной, неизвестному будущему поэзии, приключений и славы!..

Я был прав, конечно; но оставаться в прежней среде мне стало до того тяжело, что я, не имея средств уехать из Москвы, ушел под ничтожным предлогом из богатого дома, из хороших комнат в больницу, пролежал там около двух недель со слугами, мужиками и писарями за четыре рубля в месяц.

Итак, мне надо было ехать, *притвориться* в самом деле уже доктором и, может быть, убить нескольких солдат. Я решился их убить.

Конечно, для молодого человека, матерью довольно женоподобно воспитанного, от природы очень сострадательного и развившего в себе гуманность чтением Занда и Белинского, такое решение было силой. Но упорствовать долго в подобном деле было бы уже не только преступлением, но и презренной слабостью и малодушием, более обидным для молодого поэтического сознания, чем какое-нибудь энергическое преступление. Нельзя было ле-

ниться, надо было заботиться. И я начал трудиться в Крыму усерднее других.

Мне сразу дали более *ста* разных больных. Я решительно первые дни не знал, кто чем болен. Я терялся, но не показывал вида и старался или прописывать невинные вещи, или продолжать то, что давали и делали до меня.

Кроме меня и старшего доктора, которому решительно было все равно, месяца два, кажется, никого у нас из врачей не было. Позднее стали на помощь приезжать другие.

Главный доктор думал только об доходах своих и об отчетах, ведомостях. В этих отчетах он не любил встречать имена очень ученые и редкие. «Что это такое за новости, – говорил он, – «*гидатиды печени*». Умер? Пишите его в тиф. Тиф натуральное дело; а то еще выговор нам будет от начальства. Переведите этих трех из графы лихорадки в *Pneumonia*. От *Pneumonia* тоже многие умирают; а от лихорадки – нехорошо!»

Другие молодые доктора были – или гораздо лучше меня приготовленные, кончили полный курс и лечили свободно и смело; или были до того бессовестны, что им хоть трава

не расти.

Я же поступал иначе. От 8 часов утра и до часу, до двух едва кончался обход палат; было много раненых и вообще наружных болезней, которых осмотр берет больше времени через перевязку. После обеда устав требовал второго, хотя бы краткого посещения. Эта военная больница стала моим 5-м курсом, моей практической клиникой. Я вставал в шесть часов, чтобы прочесть что-нибудь о не понятом мною накануне; и после обеда, когда другие играли в карты, я учился опять. Иногда, не понявши ничего в какой-нибудь болезни, я прописывал какое-нибудь слабое лекарство, уходил домой, добивался понимания по книгам и рисункам и после обеда назначал средство серьезнее. Иногда на дежурстве меня будили ночью для принятия новых больных. Другие товарищи этого не делали; я хотел их превзойти в энергии. Меня это утешало. Я делал часто и вскрытия трупов в часовне, приготавливаясь по французским и немецким авторам, и скажу, что видеть на трупе, как верно угадана была опасная или неизлечимая болезнь, – это большое наслаждение для начинающего.



Я начал в сентябре свою службу, а к весне 55-го года я уже был другой вследствие этих трудов, опыта и бесед с одним более ученым товарищем, и сам видел и чувствовал огромную в себе разницу. Все стало яснее; сам стал смелее и покойнее; видел и пользу с большою радостью. Скоро пришлось резать руки, пальцы, ноги.

Первый раз у меня немного дрожала рука; а потом – нет. Ампутации, правда, не трудны в смысле приемов; они гораздо легче, например, чем вырезывание опухолей, вправление грыжей и другие так называемые неправильные операции. Раз отнявши ногу на трупе в Московском Анатомическом театре, можно было вспомнить и здесь легко все движения ножа, скальпеля, крючка и пилы. Но разница в чувстве для новичка великая. Резать холодную, мертвую ногу неизвестного человека под руководством доброго и умного Иноземцова; или видеть перед собой умоляющее или спокойно-печальное лицо, вонзять огромный нож в теплое, живое, широкое мясо солдатской ляжки, обливаться самому живой горячей кровью... Решать самому судьбу страдаль-

ца, которого уже знаешь в лицо и по имени... Это труднее!.. Однако и это стало все легче и легче. Я сделал в первую зиму семь ампутаций; из этих людей умерли трое, а четверо ушли домой здоровые; эта пропорция для воздуха тесных больниц и изнуренных скорбью, ранами и лихорадкой людей – очень хорошая. Большого и не требует никто.

Теперь понятно или нет, почему я не мог и не должен был писать в первый год моей военной службы?

А писать иногда очень хотелось! Так было сладко на душе. Здоровье было прекрасно; на душе бодро и светло от сознания исполняемого, по мере умения, долга; страна вовсе новая, полудикая, живописная, на Москву и Калугу ничуть не похожая; холмы то зеленые, то печальные на берегу широкого пролива. Вдали кавказский берег; милая, чистая, красивая Керчь; красивые армянские и греческие девушки. Встречи новые; общество совсем другое, гораздо ниже меня во всем, но оно занимало меня. Одинокие прогулки по скалам, по степи унылой, по набережной при полной луне зимою. Татарские бедные жилища... Воспо-

минания о страсти, еще не потухшей, о матери далекой, о родине русской...

В крепости общество напоминало мне то Гоголя, то «Капитанскую дочку»... Война вблизи; ожидания нашей очереди. Я жил и дышал свободой своей широко и радостно... И тем сильнее, что делиться было не с кем. Я не говорил никогда со своими сослуживцами о Москве, о моем призвании; они не знали даже, что я пишу; и мне нравилось это мое *инкогнито* в измененной по духу, но все-таки новой и свежей среде.

Я считал себя, улыбаясь всем снисходительно, чем-то вроде олимпийского бога, сошедшего временно на землю; вроде Аполлона, пасущего стада у царя Адмета. Если бы я был стихотворец-лирик, как Фет или Лермонтов, – я бы мог найти и повод, и время написать тогда сонет или элегию; но для архитектуры повестей, где нужен и расчет плана, не было времени. И к тому же какой сюжет? О своей прежней страсти я прямо писать не хотел тогда. Я думал очень справедливо вот что: «Чтобы описать *ту* или *то*, что для меня, для сердца моего, святыня и высокая поэзия, на-

до, чтобы это было не хуже «Фауста», «Онегина» или «Лукреции Флориани»; а если я незрел еще и оскверню плохим изображением предмет, в действительности для меня божественный?.. Только прекрасная, юная и грациозная женщина может, да и то с умом и тактом, позволить себе бесстыдство... А если бесстыдство и проституция некрасивы!.. Что за ужасное «crime de leze estetique!..[20]»

Не бедность московских воспоминаний мешала об них писать, а сила их и глубина.

Крым и военная жизнь еще действовали на меня только общими чертами. Подробностей еще было мало сперва. А потом их стало через три года так много, и впечатления сердца, встреч и ощущений опять до того глубоки, что и их постигла участь московских воспоминаний. Они были сохранены для будущего, да не осквернятся прежде времени неискусной рукою.

После восьмимесячной довольно тихой и правильной жизни в крепости Ени-Кале настало для меня время бродячей, полковой жизни. После взятия Керчи я прослужил до глубокой осени при Донском казачьем полку

на аванпосте; был беспрестанно на лошади, переходил с полком с места на место, из аула в аул; пил вино с офицерами, принимал участие в маленьких экспедициях и рекогносцировках. Тут было много впечатлений и встреч, очень любопытных, но я об них молчу, чтобы не отвлечься от цели моей.

Осенью я перешел в Феодосию; потом через ссору с начальником меня перевели середи зимы в Карасу-Базар, где люди сотнями гибли от тифа, лихорадки и гангрены; где что ни полчаса, то звонили в церквах для покойников, где из четырнадцати врачей на ногах были двое, а остальные были уже в гробу или в постели; у меня долго был один *двугривенный*; меня кормили долго другие; я был влюблен и любим; я чуть не умер там. Я убежал от туда в Феодосию, бросив больных своих, и только благодаря стараниям друзей избавился от суда. Меня возвратили опять в Казачий полк. Опять степь; опять вино и водка; опять тишина, безделье, конь верховой и здоровье... Опять новая командировка в Симферополь, где было очень много раненых и больных. Опять больничные труды... но больше лю-

бовь, чем труды. Мимоходом я увез одну девушку<sup>[2]</sup> от родителей. В это же время один гусар увез другую. Нас перепутали; мы были без паспорта в Карасу-Базар; нас задержали; мою бедную подругу хотели посадить в полицию, но я обнаружил в защиту ее столько энергии и решимости, что никто не решился на этот шаг; но целый день и ночь стояла стража у дверей наших; квартальный взял с меня взятку, последние пять рублей; один пьяный доктор, женатый человек, который отправил жену свою в Россию и жил с вовсе некрасивой «Наташкой», дал мне десять рублей. Меня вернули под стражей в Симферополь; девушку я сам, отстоявши ее от полиции, отправил к родным.

Три дня я ел только черный хлеб; от голоду я принужден был поступить сам в больницу и обманывал долго своих сослуживцев-врачей, уверяя их, что у меня по ночам пароксизмы. Ел казенную гадость от голода целый месяц; потом получил вдруг много денег и от казны, и от родных; опять здоровье, трактиры, музыка, знакомство с английскими гвардейцами, портер и шампанское. Опять конец

деньгам. Удаление на тихую дачу «на берегах веселого Салгира». Немецкая честная семья; божественный вид из виноградника на Чатыр-Даг; кругом пышные сады. Беседы со стариком о крымской старине, о Боге, о природе! Две дочери-вдовы; меньшая молода и благосклонна... Меня хотят женить на ней...

Но где – такая скромность! Через два месяца я уже опять в новом мире, я на другом конце города, в солдатской слободке, в маленьком доме вдовы Бормушкиной... Моя *беглянка*<sup>(3)</sup> опять со мной. Мы забываем весь мир и блаженствуем, как дети, на дальней слободке... На службу я не хожу... и не каюсь. Я как будто опять болен... По правде сказать, мне кажется, я больше думал о *развитии* моей собственной личности, чем о пользе людей; раз убедившись, что я могу быть в самом деле врачом не хуже других, и управлять, и лечить – я успокоился, и любовные приключения казались мне гораздо серьезнее и поучительнее, чем *иллюзия* нашей военно-медицинской практики! Здесь, на солдатской слободке, не было обмана, здесь достигалась *цель*; но в больнице?.. Странствия мои все не

кончились... На слободке нашел меня вдруг мой старый московский знакомый, богач Шатилов. Он узнает, что я не был еще на Южном берегу, не видал ни Ялты, ни Алупки, ни знаменитого Аю-Дага. Он восхищается моей подругой, восклицает, что надо ехать с нею вместе на Южный берег, дает мне на это сто рублей, и мы едем. Мы опять блаженствуем en tete-a-tete среди не виданных ни ею, ни мною никогда красот южной, приморской и горной природы. Мы возвращаемся без хлеба, закладываем ложки и опять расстаемся.

Я живу долго у Шатилова в деревне.

Война кончилась; строй военный мало-помалу давно редел; полки расходились во все стороны с литаврами и пением... Помещики возвращались в свои имения. Больницы пустели.

Боевые картины исчезали одна за другою, как степной мираж, и цветущая, разнообразная поэзия мирного и веселого Крыма становилась виднее и понятнее.

Я жил долго в степном имении Шатилова. Прекрасное имение. Я лечил его крестьян и соседей за годовую плату. Здесь медицина



стала опять приятна; здесь я видел результат; здесь было меньше иллюзии. Я катался верхом, гулял, читал, занимался сравнительной анатомией и даже стрелял... Здесь, наконец, я стал опять писать на покое. Ничто не способствует так творчеству, как правильная жизнь после долгих треволнений и странствий.

К сожалению, наука вообще, в которую я больше и больше стал вникать здесь на досуге, продолжала портить мой *стиль* и живой дух. Всякое высокое развитие очень трудно... Нужно много грубых камней, чтобы найти в них жилку золота; нужно множество розовых листьев, чтобы выработать одну ложку дорогого душистого масла. Немного остается истинного веками и у великих художников, у тех, у коих уменье соединилось в жизни и с удачей.

А сколько было писано!

Практическая жизнь, независимая должность были полезны мне для независимости, для новых впечатлений, для жизни, для того самоуважения, которого бы мне не дала презираемая мною серая и душная жизнь столичных редакций.

Теперь я больше любил, я больше уважал себя; я сформировался и стал на ноги. Но такова судьба всего земного – деятельная жизнь не была возможна без теоретических занятий; а теоретические занятия приучали мою мысль к слишком научным, к слишком *точным*, реальным приемам, вредили капризу вдохновения, искажали подробностями простоту широких взмахов кисти, ослабляли восторги и полет...

Вечная боязнь *выставить* слишком *самого себя*, боязнь, которой, не скрою, я набрался у Тургенева и других писателей того времени, делала то, что я продолжал предпочитать сюжеты гораздо менее оригинальные и свежие, чем события моей собственной жизни, из-за какой-то *pruderie*[21], из-за ложного стыда, быть может, и похвального в человеке, но все-таки очень вредного для художества.

Лишь бы одну вещь гениальную написать, пусть она будет до бесстыдства искренна, но прекрасна. Ты умрешь, а она останется. Но чтобы решиться на это, надо быть или столь молодым, как я был, когда писал Киреева, или уже усталым и сознающим невозмож-

ность сказать миру хорошо и десятую долю того, что думаешь.

У Шатилова я много занимался сравнительной анатомией и медициной. Кроме того, и сам Шатилов влиял на меня в этом отношении, хорошо ли, дурно ли – не знаю! Он был страстный орнитолог; у него был прекрасный музей крымских птиц; я еще в гимназии обожал зоологию, и мы сошлись. Я читал у него Кювье и Гумбольдта, и мне кажется... чуть ли не думал внести в искусство какие-то *новые формы*, на основании *естественных наук*.

Зоология, сравнительная анатомия, ботаника исполнены поэзии, когда в них вникнешь. Разнообразие форм и общие законы, соблазн новых открытий и новых соображений, самые прогулки и близость к природе с научной целью – все это очень увлекательно. Поэзия научных занятий и поэзия любовных приключений имеют между собой то общее, что они одинаково отвлекают *вещественно* от искусства. Но разница между ними та, что любовь и всякие приключения дают пищу будущему творчеству, влияют даже хорошо на *форму* его, ибо дают непридуманное содержа-

ние; а наука, отвлекая художника в настоящем, портит его *приемы* и в будущем, и надо быть почти гением, чтобы *стиснуть*, задавить в себе этот тяжелый груз научных фактов и воспоминаний, чтобы не потеряться в мелочах, чтобы вырваться из этих тисков мелкого, хотя бы красивого реализма ввысь и на простор широких линий, чтобы:

*Обрести язык простой  
И голос страсти благородной.*

Настал, наконец, час моего возвращения на родину. Другие доктора возвращались с войны, нажившись от воровства и экономии; я возвращался зимою, без денег, без вещей, без шубы, без крестов и чинов; я ехал восемнадцать дней с обозом от Крыма до Харькова и в Курске увидел, что у меня уже неостанет денег до Москвы, и если бы не сумел очень искусно и забавно обмануть одного спутника своего, то не знаю, как бы я доехал. Он отомстил мне тем, что сам ел и пил хорошо три-четыре дня, а мне, кроме куса хлеба и кусочка сала, все это время не давал ничего и табакку тоже не давал.

Так я ехал, бедствуя и наслаждаясь сознанием моих бедствий, ибо я был один из очень *немногих*, которые могли из Крыма уехать, не краснея перед открывшимся тогда либеральным и *честным* движением умов; и сверх того у меня осталась на руках одна бедная семья[22], которую я дал себе слово не оставлять и содержать ее.

Я помню, со мной был Беранже. Пообедав с мужиками за 15 к. с, я сел на воз. Телега скрипела и ехала шагом до ночи по бесконечной степи, я читал «Беранже».

*Le verre en main  
Gaiement je me confie  
Au Dieu des bonnes gens...[23]*

И, простирая руки к небу, я восклицал с фарисейской радостью: «Боже! благодарю Тебя, что Ты меня создал не таким, как все эти подлецы, и дал мне силы и честь для такой трудной борьбы!»

В Москве родные заплатили за меня двадцать коп. серебр. извозчику, который довез меня до дому, и я опять поселился в доме Охотниковых на Пречистенке. Ее давно уже

не было в Москве, и мне это было приятно. Позднее я встретил ее и увидел, что она при-  
выкла к мужу и имеет много детей.

Мы говорили, обедали вместе и т. д. Но мы  
уже были чужие друг другу, как в «Обыкно-  
венной повести» Огарева.

Я искал места в деревне, в провинции.

Иноземцов, который славился способно-  
стью выводить молодых врачей в люди, знал  
и любил меня. Он хотел оставить меня в  
Москве, другие тоже советовали мне это, пре-  
льщая даже перспективой *дамского* доктора,  
но я оставался верен своему желанию уехать  
опять вдаль. Сельская жизнь обещала мне  
больше здоровья, больше досуга для мысли и  
творчества, наконец, возможность видеть и  
простой народ чаще и ближе, и высшее обще-  
ство, если помещики попадутся хорошие;  
а мне и народ, и знать, *les deux extremes*[24],  
всегда больше нравились, чем тот средний,  
профессорский и литературный круг, в кото-  
ром я, по средствам моим, сначала принуж-  
ден был бы, вероятно, возвращаться в Москве. Я  
хотел быть на лошади... Где в Москве лошадь?  
Я хотел леса и зимою: где он? Я хотел много...

Кроме Тургенева, изящного, остроумного, светского, рослого и богатого барина, и Фета, про которого я сказал бы стихами, если бы был стихотворец —

*Улан лихой, задумчивый и добрый*

---

мне из литераторов и ученых *лично* никто не нравился для общества и жизни. Панаев и Некрасов оба были отвратительны и т. д. Гончаров тоже ерісіег[25], толстый и т. д.

Толстых я не встречал, ни Льва, ни Алексея. Майков очень жалок. Жена его носит очки! И потому я на всех почти ученых и литераторов смотрел, как на необходимое зло, как на какие-то *жертвы общественного темперамента*, и любил жить далеко от них, эксплуатируя их лишь для моих целей. Может быть, от этого и из них никто не стал заботиться обо мне, и все забывали меня в моем удалении, самолюбивом лично и самоуверенном художественно...

# Примечания

## 1

«не испытал страсть, не будучи любимым!» (*фр.*)

[^^^]

## 2

«это энергичный и уважаемый человек, который видел смерть рядом» (*фр.*)

[^^^]



## 3

ухоженные руки (фр.)

[^^^]

## 4

хороший мальчик (фр.)

[^^^]

## 5

Напр., у них беспрестанно встречаются такие гекзаметры:

	1	2	3	4	5	
	— —	— ∞	— —	— ∞	— ∞	— ∪
или:	— ∞	— —	— —	— ∞	— ∞	— ∪
или:	— ∪	— —	— ∞	— —	— ∞	— ∪
или:	— —	— —	— ∞	— ∞	— ∞	— ∪
или даже:	—	— —	— —	— —	— ∞	— ∪

И т. д.

[^^^]

## 6

благородный и великий образ моего щедрого защитника (*фр.*)

[^^^]

## 7

медведь (*фр.*)

[^^^]

## 8

переворот (*фр.*)

[^^^]

*Отправляйся, мой друг Гизо,  
Проворно. Это не слишком рано.  
Дурно пошло наше дело,  
Потому что парижане  
Находят, что дела пошли нехорошо*

*За последнюю неделю...  
Удираем, удираем...  
Прощай, цыпленок, дуралей!  
Фаридонден, фаридонден... (фр.).*

[^^^]

## 10

маленький лорд (*фр.*)

[^^^]

## 11

Эта глава осталась, к сожалению, не оконченной. – *Примеч. издателя И. Фуделя*

[^^^]

## 12

я сделал оговорки (*фр.*)

[^^^]

## 13

Какая красивая картина жанра (*фр.*)

[^^^]

## 14

Вы спрашиваете, если я люблю вас, говорила она; ах! Я тебя обожаю ... Но нет! Я хотела найти слово (*фр.*)

[^^^]

## 15

красавец (*фр.*)

[^^^]

**16**

симпатичный мальчик (*фр.*)

[^ ^^]

**17**

шедевр (*фр.*)

[^ ^^]

**18**

плохого качества (*фр.*)

[^ ^^]

## 19

«что она играла беднягой» (*фр.*)

[^ ^^]

## 20

Преступности против эстетического (*фр.*)

[^ ^^]

## 21

ханжество (*фр.*)

[^ ^^]

## 22

Семья Лизы.

[^^^]

## 23

*Со стаканом в руке  
Весело я верю  
Богу хороших людей... (фр.)*

[^^^]



**24**

две крайности (*фр.*)

[^^^]

**25**

бакалейщик (*фр.*)

[^^^]

[^^^]

# Комментарии

## 1

В подлиннике следуют подробные указания на метрические ошибки в произведении.

[^^^]

## 2

Лизу – жену мою.

[^^^]

Лиза.

[^^^]

[^^^]